##  Вадим Чирков

## НАШИ ДУШИ БЛУЖДАЮТ ПО СВЕТУ

 Душа – «бессмертное духовное существо,

 одаренное разумом и волею». ВладимирДаль.

По давно известным мне признакам я понял, что этот человек ищет собеседника. Худощавый, рыжебородый, в джинсе (куртка наброшена на голые загорелые плечи), он осторожно приглядывался ко всем, кого видел, выбирая... нет, не просто собеседника, а скорее слушателя. Я же, слушатель от природы, слушатель, которого рассказчик (тоже от природы) легко находит глазами даже в большой толпе, покорно стал ждать, когда меня призовут к исполнению прямых моих обязанностей.

А потенциальных слушателей было много здесь, на каменном мысу с обрывистыми рыжими берегами, омываемом, по-моему, самой чистой и самой синей водой Черного моря. Они и купались, и ныряли, и загорали, и бродили, полуголые, среди развалин древнегреческого города, который две с половиной тысячи лет назад возник на этом мысу и насчитывал около двух десятков столетий активной жизни. Немудрено, что всякого, кто притрагивался к пепельно-серым камням древних домов, знававших тепло людских тел и слышавших их голоса, охватывала задумчивость.

Остатки стен бывших домов были еще в прошлом веке «подняты» археологами из земли, законсервированы сверху цементом и теперь давали представление о городе. Раскопки и посильная реставрация развалин дорисовали картину. Обнаружились разноцветные мозаики на полах ванных комнат, были подняты из земли и поставлены на прежние места мраморные колонны базилик, собраны воедино осколки громадных пифосов и амфор, в которых хранили раньше вино, масло и рыбу – предметы торговли города, стоявшего на перекрестке морских дорог. В музее, в центре мыса, были накоплены тысячи монет, найденных при раскопках, мраморные статуи с прощальными текстами на древнегреческом, надгробные плиты, терракотовые статуэтки, плоские светильники... Особое внимание привлекала плита 111 века до нашей эры с клятвой жителей города на верность ему: «Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Девою, богами и богинями олимпийскими, героями, владеющими городом и землею, и укреплениями херсонеситов, я буду единомыслен относительно благосостояния и свободы города и граждан и не предам ни Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной гавани... другом я буду херсонесцам всегда...».

Море здесь сияет той живой искрящейся синью, что притягивает взгляд, как чьи-то глаза. Оно здесь гипнотически синего цвета, того энергично синего цвета, ощущая который всегда жалеешь, что ты не живописец, - хотя и знаешь, что все равно не передашь на холсте ни этой живой синевы, ни этого вспыхивания в ней искр солнца.

А прибойная волна все выносит и выносит на галечный берег красно-глиняные черепки разбитых давным-давно кувшинов и амфор, их осколками, должно быть, густо усеяно дно вокруг мыса.

Кроме музея, в центре полуострова стоят развалины собора, построенного в конце прошлого века в честь святого Владимира, принявшего здесь, вместе с Русью первое крещение в 989 году. Собор был разрушен во Вторую Мировую. Крыша обвалена прямым попаданием бомбы немалого размера, стены иссечены пулями и осколками до того, что на них нет буквально живого места. Пулями же и осколками побита роспись внутри храма, видная сквозь проемы узких высоких окон, украшенных гранитными колоннками; через «Тайную Вечерю», написанную на всю стену, проходит широкая трещина...

Здесь-то, напротив собора, я снова увидел Рыжебородого.

Он сидел на желтой, выжженной солнцем траве, по-турецки скрестив ноги, и рисовал на листе ватмана Владимировский собор. Работа была профессиональной.

То, что возникало на листе бумаги, тоже можно было назвать архитектурой. Но не искусством строителя, как переводится с греческого это слово, а искусством... разрушения. Это была... антиархитектура. Она поражала, кроме всего, силой и свирепостью разрушителя. Здание храма, казалось, было обглодано чьей-то страшной железной челюстью. И мне было понятно, почему художник зарисовывает это – такого нельзя ни придумать, ни вообразить.

-Лицо войны? – вырвалось у меня.

Он обернулся.

-Похоже на слепок с одного из ее дней. – Художник кивнул на храм. – Правда, чудовищно?

Вид разгромленного собора посреди целых уже домиков музея неподалеку и полностью восстановленного после войны города в самом деле нарушал строй мысли, сознание не осиливало этой картины сразу, останавливалось перед загадкой разрушения. И было непонятно, как убийство, свидетелем которого ты не был и ничего не знаешь о мотивах, - но видишь изуродованный труп.

Художник уложил лист ватмана в папку, встал и предложил:

-Хотите, я покажу вам еще одну любопытную вещь?

Кажется, он нашел того, кого искал. Я кивнул.

Мы обошли собор со стороны колонн средневековой базилики, оказались перед задней, северной его стеной, по которой поднималась ржавая пожарная лестница, перебитая посредине взрывом снаряда. Снаряд (наш ли, немецкий ли) выбил в толстой стене храма глубокую яму.

-Гляньте-ка наверх, - мой провожатый показал пальцем под самый карниз.

Там, поверх всего сумасшествия, оставленного на храме войной, кто-то, рискуя жинью на перебитой снарядом, донельзя проржавевшей лестнице, написал краской: ПУСТЬ БУДЕТ ВЕЧНА ЛЮБОВЬ!

-Черт знает что! – произнес я единственное, на что в эту минуту был способен.

-Вот именно, - подтвердил художник. – Но я уверен: такое можно увидеть только на этом мысу!

Я смотрел и смотрел на надпись, задрав голову, и ничего не ответил, хотя о мысе думал примерно так же.

Теперь время рассказать о себе – мне на этот раз нужно представить будущего слушателя художника и объяснить, почему он его (меня) выбрал.

Я пробыл на этих берегах, в военно-морском городе, в границах которого находился и мыс с древнегреческими развалинами, 4 года. Я оставил здесь, за высокими заборами и колючими проволоками двух воинских частей, в их казармах на 120 человек, в ротных строях, у береговых пушек и безрадостного тогда моря свою юность, ту юность, которую мои друзья, оставшиеся на «гражданке», проводили, верно, ох как иначе.

И я считал, что этот город, море, берега, бухты кое-что мне задолжали – я много чего здесь, повторю, потерял. И теперь, бродя по знакомым улицам, по берегу моря, вторично – нет, заново! – открывая мыс, запоздало понимая, что все-все здесь неповторимо красиво, я пытался получить с этой местности хоть какую-то отплату, на которую, был уверен, имею полное право.

Вот какое у меня сложилось отношение ко всему здесь, и когда незнакомый пока еще художник произнес ключевую для меня фразу «такое можно увидеть только на этом мысу», я и согласился с ним, насторожился и приготовился к своей главной роли – слушателя, на этот раз очень внимательного. Мыс должен был чем-то со мною поделиться.

-Виктор, - представился мне Рыжебородый и протянул руку. – Фамилия: Кубик. – Вы не против кружки пива в эту пору?

Пиво продавалось сразу за оградой музея, заведение находилось в одном домике с продовольственным, невероятно бедным магазинчиком. Здесь стояли высокие столики, пиво наверняка разбавляли, но было оно прохладное и после июньского солнцепека очень «питкое» (удачный термин виноделов).

Отпивая глоток за глотком, мы обменялись сведениями о городах, откуда приехали, о профессиях – он художник, я журналист.

-Журналист? – почему-то обрадовался Виктор. – тогда кому-то из нас повезло!

-Чем?

-Мне тем, что меня поймут, а вам – интересным, на мой взгляд, материалом. – Он уже не сомневался в распределении ролей Рассказчика и Слушателя. – Дело в том, что здесь со мной происходят преудивительные вещи...

Кубик был, как я уже сказал, рыжебород. Скорее, коричневобород. Чуть широкоскул, борода логично удлиняла лицо, а бурые, как у медведя, с сединой уже волосы на голове «работали» на все тот же правильный овал. Карие глаза взглядывали на собеседника быстро, остро, что-то свое замечая и отмечая. Такие глаза бывают у спортсменов единоборцев. Под левой бровью я нашел то, что искал, – белый шрамик.

-Бокс? – спросил я, указывая глазами на шрам.

-Кэмээс, - ответил художник (кандидат в мастера спорта).

Я кивнул.

Мы заказали еще по кружке и поговорили о своеобразной красоте небольшого этого полуострова, которая и определила много веков назад его судьбу. Из далекой заморской Гераклеи в поисках удобного для житья места приплыли сюда в пятом веке до нашей эры колонисты, заметили мыс и удобную гавань за ним, поселились и со временем построили целый город, где дома чуть не соприкасались друг с другом. Все хотели жить на этом мысу, но селились здесь только богачи, землевладельцы, чьи загородные усадьбы начинались сразу за городом, за его стенами и тянулись далеко, в степь. Там жили управлющие и рабы, обрабатывающие хлебные поля, сады и, главное, виноградники.

Полис просуществовал две тысячи лет – много ли на земле других с такой же долгой историей?

Дома подходили к самому морю, иные стояли прямо над обрывом берега, во время штормов брызги разбитых о рыжий ракушечник волн залетали во двор, а от ударов воды звенела на полках посуда и раскачивались огоньки в глиняных светильниках...

Что за люди жили здесь?

Разговор все ближе и ближе подходил к тому, что было «преудивительными вещами», которыми заинтриговал меня художник в самом начале знакомства, но оно все-таки было еще слишком непрочным и не позволяло ему делиться сокровенным. Виктор предложил назавтра понырять с маской и подводным ружьем, я обрадовался, потому что и сам был подводным охотником. Мы договорились о времени и месте встречи, я отправился домой, а художник вернулся к собору заканчивать рисунок.

ПОД ВОДОЙ

Из рыбы главным предметом подводной охоты были здесь лобаны (крупная кефаль) и ерши. Бычки возле нашего мыса были слишком напуганы многими ныряльщиками и слишком юрки, чтобы попасть под гарпун. На лобанов же нужно сильное, далеко бьющее ружье, а наши, со слабой резиной, годились только на ершей.

Ерши, донная, страшнючего вида рыба с огромной пастью хищника и рядом длинных ядовитых иголок на спине, никого не боялись и подпускали охотника на расстояние выстрела. Однако заметить ерша было нелегко из-за маскировочного цвета чешуи, в точности повторяющей цвет подводного, в лишайниках камня. Только опытный взгляд находил притаившегося на дне разбойника.

Подходя к восьми утра к условленному месту (местные мальчишки зовут его «Колбасой» или «Двойным спуском» - за два направления при спуске, а «Колбасой» неизвестно за что), я увидел художника у древней стены. Он сидел, прислонившись к ней спиной, и рисовал что-то на листе ватмана (без бумаги в папке и набора карандашей он здесь не ходил). Перед ним были другие древние стены – и только они – и море за ними, но когда я заглянул в лист, то увидел на нем... лицо молодой коротковолосой женщины.

-Откуда взялась? – вместо приветствия спросил я.

-Приснилась, - так же лаконично ответил Кубик. – Пока не ушло из памяти, рисую. Идите, я скоро.

Спускаешься сперва направо, держась за камни, потом налево. Еще приходится делать длинный рискованный шаг через расщелину – и ты на скале, на три четверти лежащей в воде. На середине ее покоится тяжелая, с тонну, каменюка, на которой обычно кладется одежда ныряльщиков. Вода у скалы, на взгляд, плотна, ленива, прозрачна... На дне видно качание водорослей и еще заметишь стайку рыбешек, копошащихся возле дохлого краба, скинутого со скалы ночной волной.

Плавки, ласты, маска, трубка, ружье в руках – вот наш наряд в тот день. Один за другим мы уходили со скалы в воду, где там и сям, обросшие зеленой колышущейся бородой водорослей, лежали темные, ноздреватые, разной величины камни, бывшие когда-то частью мыса, но сорванные с него то временем, то штормовой волной. Стремглав, серой тенью уносились от нас толстоспинные лобаны, юркали под камни бычки, перед маской время от времени возникали стайки мальков. Мальков словно кто-то вел на ниточках – так послушно они все вместе бросались из стороны в сторону.

Глаза обшаривали дно, заглядывали под камни, если там было «пустое» пространство; один из большущих камней, лежащих на дне, оказался куполом на трех опорах, я заглянул под него, увидел свет с другой стороны, камень посредине и какую-то рыбу-гиганта на нем. Воздуха для охоты мне не хватило, я вынырнул, вдохнул поглубже и снова пошел в глубину. На камне под куполом возлежал, иначе не скажешь, огромный царь-ерш, ерш великан. Он ничего не боялся – кто в каменных его покоях мог посягнуть на жизнь, защищенную всем, чем только можно? Он даже не шевельнулся, когда я заглянул под камень; трезубый гарпун вонзился в рыбий бок, как торпеда в борт корабля.

-Ну, ты даешь! – воскликнул Кубик, когда я подплыл к скале с грузом рыбины на гарпуне (с этого момента, мы, охотники, перешли на «ты). – Это же кит, а не ерш!

Полукилограммовый ерш был художником с гарпуна снят и помещен в одну из каменных ямок на скале, наполненную водой, где уже плескалось с пяток других рыб.

После ныряния мы отдыхали – отогревались и загорали, переворачиваясь, чтобы не обуглиться под жестковатым крымским солнцем. Переговаривались односложно – уж слишком было хорошо, чтобы еще и разбазаривать на слова идеальное состояние. Перед глазами у каждого был подводный мир – темные громады камней, длинные зеленые бороды водорослей, причудливая мозаика дна, разноцветные мелкие рыбки, увильнувший от выстрела крупный ерш и мутная голубизна воды впереди тебя и над тобой...

Над скалой нависает высокая стена желтого рваного ракушечника. Она освещена солнцем до полудня. В стенах, в щелях, живут воробьи. Садясь около гнезда, они осыпают крупинки камня и те, упав на твою спину, заставляют поднять голову и посмотреть вверх, где в синем высоком небе плавится маленькое слепящее солнце.

Волна неслышно наваливается на скалу, заливает ее край, освежает воду в мелких ямках, где прячутся мягкокорые крабчата, и так же тихо стекает по нитяным водорослям.

К десяти часам наша скала и еще две – поменьше, островки – становятся обитаемыми. На одной мальчишки жарят на ржавом листе жести мидий. На другой загорелые дочерна местные девчонки, взявшись за руки, втроем-вчетвером прыгают в воду. Белый взрыв – визг девчонок захлебывается, а потом возобновляется.

На нашей скале лежат молчаливые. Они лежат неподвижно. Подолгу наблюдают за хохотушками девчонками, глядят на мальчишек, ловцов мидий, и особенно – на мальчишек-прыгунов: те взбираются на высокий выступ в стене и ныряют в бухточку между скалами ласточкой, почти в тот же момент выныривая, оттого, что бухточка с пятачок.

Лежа на скале, весь уходишь в созерцание; слышишь же только неназойливый плеск волны – главный звук, который тебе нужен. Голоса и взвизги как-то не доходят до сознания. Впрочем, на этой скале, как я убедился, почти никогда ни о чем не думаешь... и слава богу!

И все-таки Кубик заговорил:

-Знаешь, - сквозь сон я услышал его голос, - я однажды поймал себя на том, что мне никогда не бывает здесь одиноко или скучно...

Я вяло откликнулся:

-Зачем же тебе журналист?

-Чтобы рассказать, что за этим кроется.

-Тогда интересно, - сказал я, не поднимая однако головы.

Недалеко от скалы уходит под стену берега грот. Хлопание воды отдается в его сводах – он гудит как звонница. Солнечный свет туда не попадает, в гроте сумрачно и прохладно, в покойное это место забираются насытившиеся и уставшие от дневной суеты ерши. Надо бы проверить...

-Чтобы рассказать, что за этим кроется, – настойчиво повторил художник и я переключил мысль на него. – Вот первая посылка: иногда мне кажется...

КУБИК ПОНЕМНОГУ РАСКРЫВАЕТСЯ

Художник приподнялся, сел, прислонившись к камню, накрытому его джинсами, – худощавый, мускулистый, загорелый. Он смотрел на меня, и я знал, что мне уже не отвертеться от его рассказа.

-Иногда мне кажется, что жившие здесь давным-давно люди оставили на мысу не только пепельно-серую кладку своих домов, черепки посуды, амфоры и надгробные плиты. Что-то еще... Я думаю – я, знаешь, начал это явственно ощущать, – древние стены заряжены энергией... энергией, может быть, их чувств и мыслей... и можно не то что услышать, а скорее как-то там уловить вдруг чей-то возглас, слово, мысль даже, что осветила мозг две тысячи лет назад...

Кубик говорил сейчас то, что я и сам чуял краем сознания и что меня уже беспокоило и требовало определяющего слова. И он как раз его произносил.

-...а может, вообще этот мыс – гигантский аккумулятор той самой энергии, и мы по нему бродим, не чувствуя одиночества, потому что нас все время кто-то, чудится, окружает... И нас сюда тянет как магнитом, где бы мы ни были... словно нас кто-то позвал сюда...

Снова внимательный взгляд на меня.

-...будто нас сюда кто-то позвал, - повторил художник ключевое, как я понял после слово.

-Дядя, - коснулась моей спины чья-то мокрая рука, - дядя, можно, я с вашим ружьем поныряю?

Худенький загорелый светловолосый пацан возник из моря и ухватился за скалу.

-Бери.

-Как-то раз, - продолжил Кубик негромким, но настойчивым голосом, - я приехал на этот берег, когда в него били штормовые волны. Спецально приехал из другого города, где был в командировке, чтобы хоть часок побыть на моем мысу. Чтобы увидеть его в шторм... На мыс – сейчас я порисую, потерпи - катили с моря громадные зеленые волны-валы. Катили, медленные, тяжелые, неукротимые, накатывались, ухали в берег – камень охал, содрогался, стонал, то и дело я слышал взрыв – и над берегом вставала белая стена брызг...

Я подумал, что краски тоже должны подчиняться Кубику.

-Я спрятался от ветра за одной из древних стен и смотрел, смотрел на зеленые страшные валы. Брызги долетали до меня, я слизывал с губ соленые капли.

И конечно, в какую-то одну из этих минут – они не были помечены уже никаким временем (опять ключевое слово) - я и сам оторвался от своего, оторвался и легко переместился... на две тысячи лет назад и обратился в жителя древнего города – он, как и я, спрятался в шторм за стену дома, чтобы смотреть и смотреть на валы, сокрушавшие берег...

Кубик словно бы считывал текст с какой-то страницы. Я по себе знал, что это бывает.

-У скал грохотало; здесь сшиблись Море и Суша... Мой двойник (и я) не отрывали глаз от непримиримой схватки двух гигантов. За его спиной теснилось множество одноэтажных и двухэтажных домов; на полках в комнатах, в глиняных светильниках колыхались от порывов ветра снаружи огоньки, прислуга (рабы) принесла разожженные во дворе жаровни; кто-то приказал подать вино...

Кубик взглянул на меня: я слушал.

-В комнатах шли негромкие беседы, их прерывали бешеные удары ветра то в стену, то в крышу... На смуглых запястьях женщин были золотые, серебряные, бронзовые или стеклянные (модный материал) браслеты – синие, голубые, перевитые, как шнурок, широкие, с пузырьками воздуха внутри; узорчатые застежки на плечах, кожаные сандалии на босу ногу... Звучали то мужские, то женские голоса:

-Папий!

-Адмет!

-Эант!

-Ойнанфа!

-Лаодика!

-Ксанф!

Честное слово, в именах этих было что-то от названий драгоценных камней!

-Стена, за которой я спрятался от ветра, - продолжал Кубик, - была всего в двух-трех метрах от обрыва, отсюда битва волн с камнем была видна на большом протяжении берега, то галечного, то скалистого – над скалами взлетали гейзеры брызг. Под обрывом у «моей» стены была широкая полоса гальки, но иная волна докатывалась до откоса и я тогда чувствовал ее жуткую силищу. Да и ветер меня доставал, тузил справа, слева; я от грохота оглох, иззяб - и все равно смотрел, смотрел...

Вслед за Кубиком смотрел и я.

-Волны выходили из кипящего моря, еще больше вырастали, набирали тяжелой и ударной мощи. Поднимались на дыбы, - Кубикова рука взлетела, - потом зеленая махина обрушивалась на галечный берег, крушила его и себя, череда их была бесконечна. Стоило разбиться одной, как следующая вздымалась над берегом, готовя многотонный удар...

Вокруг нас плескались, кричали, визжали, но я настроился на ровный голос Кубика.

-В одном из домов на мысе кто-то ждал спрятавшегося за стеной (его? меня?), выходил во двор, поднимал голову к разорванным в клочья быстрым тучам, слушал близкий гул шторма. Потом возвращался, потирая озябшие плечи и руки, плотно закрывал за собой дверь и спешил к жаровне, чтобы побыть над жаром, омыть им заледеневшее лицо.

Когда открывалась дверь, к вошедшему по-собачьи настороженно поворачивался огонек светильника: узнав хозяина, он трепетал и быстро успокаивался и ровно освещал уже часть комнаты, где привычно стояли и лежали вещи...

Трудно было совместить то, что живописал художник, с сегодняшним солнцем и блеском моря, но голос его, гудевший на одной ноте, все равно привораживал.

-Женщина... (я ждал этого слова), чуть отогревшись у жаровни, зажигала еще два светильника, два плоских глиняных сосудика с носиком для фитиля, круглым отверстием на другом его краю для вливания масла, рисунком-печаткой сверху и ручкой, как у наших чайных чашек. Светильники стояли на полках рядом с глиняными статуэтками богов и богинь и посудой, сразу закрасневшейся в свете масляных огоньков. Огоньки чуть коптили, свивались на концах в черно-смоляную нить, та сперва тянулась к потолку, потом вдруг отчего-то начинала извиваться, и тени нитей на беленом потолке обращались в беспрестанно и нервно шевелящихся змей, словно их беспокоили зажженные внизу светильники...

Художник замолчал, а я сказал ему:

-Ты и вправду туда переместился.

-Да, - подтвердил Кубик, - я был там по-настоящему.

Прошли две-три минуты на осмысливание (и проверку) произнесенного, потом мой рассказчик, чуть переменив позу, снова заговорил:

-Несколько лет назад я попал в один дом, где собрались послушать известную приезжую экстрасенсшу. Красивая женщина с черным бархатным ошейничком (дамы зовут его меж собой удавкой, она прикрывает стареющую кожу) и молодым мужем. Колдунья точно определяла, что у кого болит, снимала несколькими пассами головную боль, было видно, что она еще многое умеет... или, по крайней мере, делает вид, что умеет. Большинство из собравшихся поверило в ее исключительные способности и стало спрашивать уже обо всем. Гостья отвечала на любые вопросы, какими бы странными они ни были: у каждого, оказалось, был к ней свой. Я еле дождался своей очереди - и рассказал гостье о своей необъяснимой, на мой взгляд, любви к одному из мест на земле, о том, что меня тянет туда, как магнитом, что я своим воображением легко перемещаюсь туда... ну и так далее.

Эстрасенсша меня выслушала, потрогала удавку на шее и ответила одной уверенной фразой:

-Ничего удивительного тут нет: просто в этом городе вы когда-то жили!

Мой вопрос она посчитала прямо-таки детским.

Меня как по лбу ударили. Я там жил! Так вот в чем отгадка всего!

Я там жил; я. правда, не помню ничего, но во мне осталась неизъяснимая любовь к этому месту. Это, выходит, одна из моих родин, но почему-то любимая больше других.

Что там со мной произошло?

Додумывал (фантазировал, взахлеб, признаюсь) я уже дома.

...Кем я был в Херсонесе? Землевладельцем? Моряком? Мастеровым? Рыбаком? Торговцем? Не рабом, нет, рабы не любят своих тюрем.

Черт побери, неужели переселение душ имеет, так сказать, место на этой, полной загадок земле?!

Кубик снова чуть помолчал. Я подумал, взглянув на него, что под жестковатым лицом боксера скрывается отчаянный лирик.

-Итак, - решил он подвести какой-то итог, - я там, предположим, жил; вернее, жил некий (надеюсь) мужчина, может быть, моих лет, может, моложе. Или совсем юноша... Его душа после смерти – она могла произойти от чего угодно: болезнь, кораблекрушение, война, простая драка в ночном переулке... после смерти его душа, переселяясь во всё новые обиталища, попала наконец в мое тело...

-Глянь-ка, - неожиданно показал он на что-то за моей спиной, - вот где чудо!

Я обернулся: к нам подплывал, держа гарпун над водой, светловолосый пацан. На гарпун был наколот ершище наверняка больше моего, того, что я посчитал царем этой бухты!

-Дядя, возьмите ружье. Неплохо бьет. Только снимите, пожалуйста, моего ерша.

-Куда ты его денешь?

-У меня кулек в плавках. Я вон с той скалы, - он показал рукой.

Худенького мальчишку била дрожь и губы у него посинели. Он взбил ногами брызги и вмиг оказался у своего острова. Влез и, обхватив руками плечи, на время застыл там.

Я повернулся к Кубику.

-Ну? «Его душа попала в твое тело»…

-Потом. Пошли в воду. Жарко.

Мы нырнули одновременно, оба – я глянул налево – пошли на глубину, идя меж зелеными от водорослей камнями; от меня к нему метнулся было сероспинный лобан, но круто вильнул и исчез в мутной опаловой голубизне.

Вынырнули тоже одновременно, метрах в двадцати от нашей скалы. Здесь под нами была уже недосягаемая глубина, зеленые камни не были видны, вода внизу холодила ступни. Отсюда открывался вход в уютнейшую в мире бухту, за выступом берега были видны мачты вспомогательных военных судов.

Глубина тянула меня за ноги вниз.

-Я назад, - сказал я.

-Я чуток побуду здесь, - ответил художник.

Я чуть промокнулся полотенцем и поскорей оделся: мне предстояло идти домой и обедать под полуденным солнцем.

Махнул Кубику, он был уже у скалы: держась за нее обеими руками, смотрел на шумную жизнь островков и время от времени окунался с головой.

По дороге я, естественно, давал оценку услышанному.

Наверняка я попался. Мой знакомый одержим идеей, и мне предстоит всю ее воспринять. Он меня нашел. Он увидел в мне загрунтованный холст, и пока не выложит на него все свои теперешние краски, не успокоится.

Ладно. Он не первый и не последний, кто выговаривается, глядя на меня. Пусть. Да и материал его, кажется, интересный. Идея хоть и завиральная, но она есть. И излагает он складно. В конце концов идеей ведь и жив человек. Это вроде религии. Читаю же я фантастику, говорил я себе.

Я думал в такт своим шагам и шел все быстрее: солнышко здесь не смягчено облачностью, оно работает со всем, что под ним, напрямую.

Снова мы встретились, когда заходило солнце, недалеко от мозаичной купальни. Кубик сидел, привалившись спиной к древнему камню, и глядел на закат. Рядом с ним лежала черная сумка. Увидев меня, он достал из нее бутылку сухого массандровского вина, бумажные стаканчики и три бутерброда с высохшим сыром.

-Давай проводим этот день, - сказал он. – Давай устроим ему проводы.

 Кажется, он уже немного выпил.

По-вечернему умиротворенная прибойная, невиданно прозрачная вода накатывала, чуть шелестя, на белую гальку, перебирая мелкую, обтекая крупную, лишь шевеля ее.

Людей было немного: малоразговорчивые группки, по три-четыре человека, все повернувшиеся, как подсолнухи, в сторону заката.

Вино было теплое и оттого более терпкое, отдающее кожицей винограда и цветами, какие могли бы назвать только виноделы.

Закат под его действием приобретал особое значение.

Солнце нависло над самым горизонтом. Вот у него появилась подставка, как у глобуса, светило устроилось было постоять какое-то время на море.

Не получилось – и тогда оно стало вытягиваться, вытягиваться... и превратилось вдруг в красноглиняный кувшин - цвета как раз тех древних черепков, какие волна со дна выносила на берег.

Кувшин, наверняка полный... вода не выдержала его тяжести, и он, подогнув горизонт, стал проваливаться.

Теперь его ничем уже не спасти.

Раз-два-три – осталась только расписная, как у русского чайника, крышка.

И – нету солнца. Кануло в море, оставив над собой всплеск – догорающее, как костер, дрожащее сияние. Похожее, скорее всего, на корону.

-Свершилось, - произнес нужное слово Кубик.

Я осмотрелся. Все-все глядели туда, где только что исчезло светило. На корону, сиявшую над ним, ушедшим.

Сразу потянуло прохладой.

-Ну так вот, - сказал художник и я понял, что он продолжает начатый еще утром рассказ, - значит, теперешняя моя душа – некий энергетический неразрушимый (и неразрешимый пока) сгусток, таинственный комочек, субстанция, источник жизни – знала эти места, - Кубик повел рукой от колонн базилики вправо, пронес ее над морем до северного, через участок моря, далекого берега Северной бухты, увенчанного равелином, - и она рвется к этому мысу...

Рвется – и я пакую чемодан, покупаю билет на поезд, потом на теплоход и еду, стремлюсь сюда...

В голосе художника зазвучала та нотка исповедальности, которую я заметил еще утром; ей нельзя было мешать; я и не мешал.

-...чтобы ходить здесь, словно что-то давно потерянное ища, подбирать черепки на галечном берегу, прикладывать ладони к остаткам стен, как к жертвенникам... Принюхиваться к запахам, царящим на этом мысу, здесь всегда пахнет высушенными лекарственными травами – ты заметил это?

Однажды я поймал себя на мысли, и она уже не отпускала меня: что мне нужно – я должен! – пожить здесь примерно с год. Ну, месяца три хотя бы. На мысе, как ты видел, есть с десяток домов, кроме музея, там, наверно, можно снять комнату. Я жил бы здесь, ходил-бродил бы повсюду, и вся моя способность слышать, видеть, чувствовать, обострилась бы, настроилась бы на «волну» древнего города, источник которой бьется где-то, может быть, в каменной толще, либо как клад таится в подвале нераскопанного еще дома. И, кто знает, вдруг я услышал бы то, что должен был услышать... Либо этот мыс выстроил бы мои мысли так, что я что-то, до сих пор не понятое, уразумел... А то однажды наградил бы меня воспоминанием, добытым из самых потаенных глубин памяти...

Кубик разлил остатки вина, оно было совсем уже теплым и терпкость его усилилась.

-Ты слушаешь?

Я кивнул.

-Сколько раз я ловил себя на том, что мне до стона, до боли хочется снова побыть среди пепельно-серых камней, за которыми гипнотически синеет море! Два этих цвета меня преследовали: пепел и синь... Не оставить здесь ни одного не осмотренного места, не потроганного камня, увидеть и услышать все штормы, какие падут на этот берег, обойти после каждого галечные полосы, чтобы поглядеть на то, что вынесла со дна волна...

Темнело так быстро, как будто кто-то гасил свет с помощью реостата.

-Однажды я так и сделал...

Приехал сюда под осень, снял комнату. И где-то уже через полмесяца одинокого блуждания (ну конечно, я рисовал, сделал кучу этюдов, наметил пару картин...) мне приснился сон...

Кубик проверял взглядом, слушаю ли я, и только после этого продолжал.

-Я сижу в театре, в зале, где, кроме меня, всего несколько человек. Идет прогон спектакля, где я автор пьесы о древнегреческом городе. На сцене сидит, подогнув ноги, молодая женщина в черном одеянии, она окружена девятью светильниками, которые зажигает один за другим, и с каждым разговаривает, наклоняясь к нему:

-«Первый огонь я зажигаю тебе, владыка владык, Зевс, повелитель небес, Земли и богов. Смотри, твой светильник самый большой и самый красивый... А этот, второй, тебе, Дева, покровительница нашей земли, покровительница всех, кто живет на ней, и тех, кто плавает в море... Этот, третий, ласковый, - сердце матери моей, пусть бьется оно долго-долго... Вот огонь отца моего, и для него не пожалела я масла... Сына моего огонек, какой он трепетный, в нем розовый, желтый и голубой цвета, он такой нежный, что не обжигает даже моих губ... Вот огонь моего мужа, он загорелся сразу, сильный, прочный, ровный, пусть и дальше он будет крепок, мой муж, отец моего сына, пусть сын мужает при нем... Этот пусть светит отсюда, снизу, тем, кто наверху, далеко от нас – пусть души их, вознесшиеся высоко, пребывают в мире, пусть знают они, что здесь помнят их – пусть увидят, если смогут, крохотный этот огонек... Вот и мой загорелся – не сразу, робко... Какой ветерок колышет тебя, почему ты такой неспокойный, когда все остальные горят уже ровно? Ты даже готов погаснуть – не пугай меня, огонек, ну разгорайся же, разгорайся...

Женщина долго держит в руках девятый, незажженный светильник, держит, не говоря ни слова. И начинает все же едва слышным голосом:

-«Мой сокровенный, тайный мой огонек, который сейчас загорится и осветит мое сердце... От чьего светильника я затеплю тебя, чтобы никто не разгадал моей тайны... нет, никого не хочу тревожить, даже мертвых, уже не связанных земными законами... Я своим огнем дам тебе жизнь, – как быстро вспыхнул ты, огонек, будто заждался моей руки, как высоко поднялся, как колыхнулся и вздрогнул и словно бы наклонил на мгновение голову, увидев меня...

Смотри, сколько огней вокруг, - а мне нужен еще один, особый, самый яркий, - ярче всех! – тебе я буду молиться теперь, тебе, девятый огонь! С тобой буду разговаривать в тишине и одиночестве, у тебя просить совета; я знаю, ты ответишь мне, когда я приближу к тебе мои губы...

Гори, гори, огонек, пламя тайной моей любви – как тянешься ты к моему лицу, будто понимаешь мои слова, будто хочешь прикоснуться ко мне... Но ты ведь знаешь, что если прикоснешься, оставишь ожог, мне не будет от него больно, но его увидят другие...

Что мне делать с тобой, огонь, осветивший уже мое сердце, уже горящий во мне, - может быть, посильнее дунуть и загасить? Или дождаться, пока ты не зажжешь меня всю и не спалишь? Нет, нет, я не то говорю!

Вот о чем я хочу спросить тебя – ты не погаснешь вдруг?..»

Молодая женщина стояла уже на коленях, окруженная восемью светильниками и держа девятый, сокровенный, у самого лица обеими руками. Голос ее, и так еле слышный, перешел на шепот, огонек перед ней колыхался, словно отвечая ей. В зале царила тишина, будто все присутствовали при настоящем молении, даже режиссер, все время переговаривающийся с актером, не занятым в спектакле, смолк и приложил палец к губам, призывая собеседника к молчанию. Женщина продолжала шептать, лицо режиссера напряглось – он перестал различать слова, - вот приподнялся и крикнул:

-Последнюю фразу громче!

Актриса послушалась.

Она отодвинула светильник, как бы для того, чтобы лучше разглядеть огонек, слепивший ей глаза, и произнесла требуемое:

-«А еще я хочу спросить тебя – о том, кого я жду: он вернется? Тогда я...» - и все-таки перешла на шепот...

Кубик нашел под рукой нужный камешек и швырнул в воду.

-На этом мой сон кончился, сон-видение, его сменила другая сцена, к этой не имеющая отношения.

Но с той поры меня начала мучить загадка: ЧТО ЭТО БЫЛО? Просто сон? Или... знак? Знак, посланный моим городом? Или, может быть, это моя глубинная память, потревоженная моими собственными раскопками, показала одно из своих сокровищ? Показала и спрятала?

Я в самом деле это когда-то видел, или повар-сон сварил сию «кашу» из моей собственной «крупы»? И ПОЧЕМУ СЦЕНА?! В древнем городе, конечно, был театр – его раскопали полностью, он уходит от поверхности земли глубоко вниз. Может быть, я видел эту женщину в свое время на сцене, сидя среди других в каменном амфитеатре? Или скрытно подсмотрел моление огню в доме женщины? Подсмотрел, а уж после память превратила его в сценический эпизод?

И еще. Если, как показал мне сон, я автор этой пьесы, значит, мне хорошо известно ее содержание? Как же иначе? Ну а коль сон-драматург, верный обыкновению обращать всякую действительность в театр, так и сделал, то она, эта действительность, не прикрашенная драматургическими штучками, все равно существует, она во мне и я должен ее знать?

Должен знать...

Вдруг в каком-то своем воплощении я был влюблен... в ту женщину, что молилась девятому огню, и она любила... нет, не меня, конечно, она любила мужчину, который жил в одном с нею городе в одно время с ней? А я, живущий в конце двадцатого века, связан с ним не только тем, что у нас общая кочевница-душа, но и еще чем-то – иначе почему именно я выбран объектом воздействия камней полуострова? Может быть, - чем черт не шутит! – мы с ним еще и похожи друг на друга как две капли воды? И потому моя безрассудная, но памятливая душа требует от меня действий и толкает, толкает к развалинам города?..

Мне захотелось обернуться к стенам дома, в котором пол был выложен мозаикой. А Кубик, повелительным взглядом вернув к себе мои глаза, продолжал:

-Но что, скажи на милость, дадут мне в конце концов эти пепельные от старости камни, как бы я к ним ни тянулся? Я ведь все равно не пересеку океана времени, который раскинулся между женщиной, зажигающей один за другим светильники, и мной! У меня нет такого корабля!

-Очень торжественно я говорю, - вдруг опомнился художник. – Ну, это всего на десять минут. Без этого ведь тоже человеку нельзя. Потерпишь?

Кубик должен был выговориться. Я это, слава богу (а может, богам), понимал. Рассказ его зрел на моих глазах. Я знал по себе, что значит дать рассказу состояться, что значит помочь ему – и молчанием, и вниманием, и кивком. А спугнуть его ничего не стоит. Такой, как этот. Без видимых опор.

Некоторые вещи нельзя заземлять – вот что главное.

Горизонт был уже невидим, но его обозначил семафором утонувший в темноте сторожевик – я его заприметил полчаса назад.

-Как я хочу знать, - Кубик тоже смотрел в сторону семафора, - что скрывается во мне, – а ведь наверняка скрывается! - но не поднимается пока со дна памяти наверх! Наверно, человек все же как колодец – в нем есть такая сокровенная глубина, что до нее добираться и добираться...

Понимаешь, - он повернулся ко мне, - скажу, скорее всего нелепость: моментами мне кажется, что я люблю ту женщину, что зажгла девятый светильник, что я видел ее, знаю, вернее, знал!..

Сказанное художником требовало ответа, отклика просило, но у меня его пока не было. И все же один вопрос возник:

-Послушай... – Я был осторожен. – Та женщина, которую ты рисовал вчера, она откуда? Ты еще сказал: приснилась. Это не актриса со светильниками?

Кубик чуть помолчал.

-Она мне в самом деле привиделась. Но это был уже другой сон. Вернее, предыдущий. Вдруг налетела, уже под утро, властно перебила какую-то чепуху, что мне снилась, кажется даже, тряхнула за плечо. Что-то говорит, я не разберу, а лицо вижу как наяву. И как одета, вижу: чудно. Она заметила, что я ее не понимаю, махнула рукой. Скорчила гримаску: ну и дубина, мол! И исчезла. Фыркнула вдобавок на прощание.

Молодая, юная даже, в кудряшках. Из тех, что любят гримасничать. Я сижу, трясу головой: что это было? Что за странный визит? Что за фокусы проделывает моя черепуля?.. Но главное – после дошло – я эту женщину никогда раньше не встречал! Но ведь так не бывает – чтобы сон показывал незнакомое лицо! А я его видел до того ясно, что и сейчас мог бы нарисовать.

Что она еще оставила – настроение. Того, грустного, какое бывает от несостоявшегося свидания. Я потом ходил как потерянный, пока не догадался сесть рисовать портрет ночной моей гостьи.

А следующий сон – театр, светильники и молодая женщина в черном среди них. Ее моление девятому огню. Вот и разберись...

Теперь моя очередь говорить, моя, слушателя. Я чуть расскажу, какой был тогда вечер. Было уже темно, высоко над нами чуть краснело одинокое узенькое облачко, оно гасло на глазах, как уголек прогоревшего костра. Слева и справа от нас чернел массив мыса, слева был округлый холм, справа – силуэт монастырского колокола на берегу, в который русские монахи, сменившие греков, звонили в туман. За ним были рассыпаны живые огоньки города. В море время от времени вспыхивала морзянка военных кораблей. От города доносился гул. Ровный гул, сливший в себе моторы машин, музыку и людские голоса. А здесь плескала и даже позванивала прибойная волна, шурша перебираемой откатом галькой. Художник встал и подошел к самой воде. Наклонился...

-Иди сюда! – Он вытянул ко мне руки – они светились, словно Кубик окунул их в светящуюся краску.

-Море фосфорится! Ну, чудо! Смотри еще! – он набрал в пригоршни воды, облил ею руки от локтя вниз. Поднял, светящиеся, над собой. – Признайся, что я похож сейчас на святого!

Зрелище и впрямь походило на чудо.

-Пошли купаться! Нет, сначала я нырну, а ты посмотри!

Через минуту под водой плыл светящийся, как электрический фонарь, человек, а я глазел на него с берега.

Кубик был в своей стихии.

Кубик не назначил мне завтрашней встречи, и я понял, что он будет бродить среди развалин, может, рисовать. Я наутро снова был на скале, которая полюбилась мне с первого взгляда, нырял, бил ершей, подцепил даже одного бычка, понапрасну погонялся за лобаном, после загорал – в общем, прекрасно провел время, чуть поуменьшив дань этих берегов и этого моря передо мной.

КУБИК ТАМ

На следующий день я лежал после очередного долгого ныряния – разведывал новую подводную местность – и отогревался, когда кто-то плюхнулся рядом.

-А продолжение повести будет такое... – услышал я голос Кубика.

-Погоди. Может, сначала окунешься?

-Дело. – Художник послушно встал, разделся и без маски и ласт прыгнул со скалы. Прошел под водой наши традиционные двадцать метров, вынырнул, отфыркался и хорошим кролем примчал назад. Обдал меня холодными брызгами с рук и улегся. И без предисловия начал:

-Память, как я убедился, не может быть последовательной, потоком, возможно, у нее не хватает «пленки» на запись всего, а возможно, она просто избирательна.

-Ну, что опять случилось?

-Тебе должно быть известно, что собаки в новом доме довольно быстро находят места, какие в чем-то их устраивают, и всегда уже верны им. Лежат на благоприятных для них скрещениях электрических или других полей... не знаю точно да и никто, наверно, не знает, каких именно. И уж собаки тем более.

Мне пришлось искать магическое место долго, дольше собаки.. И, кажется, я его нашел. Вдруг потянуло к одному из домов возле порта за мысом, там развалины не приведены в полный, как здесь, порядок. Потянуло, потянуло – я подошел. Горячее, горячее, горячо! Я застыл, держа ладони на камне стены. И через некоторое время почувствовал странный зуд, даже не зуд, а скорее покалывание, как от несильного тока. И тут я заметил внутри дома славную нишечку, будто для меня выстеленную сухой травой. Я в нишечке и примостился. Лег, подложил под голову какой-то удобный камень. На солнышке разомлел и... уснул. По-моему, слишком уж быстро уснул. И чуть, так сказать, смежил веки, как увидел, что иду по улице...

По улице, которой никогда в жизни не видел. Но шел я уверенно, словно знал ее давно и хорошо...

Головы наши были рядом, Кубик говорил вполголоса, время от времени вода бесшумно накатывала на скалу и так же без звука уходила. Девчоночий визг и мальчишечья перекличка нам не мешали.

-И встречным я не удивлялся. – продолжал рассказ художник, - хотя одеты они были не по-нашему: открытые солнцу головы, разноцветные хитоны, сандалии на босу ногу. С иными я здоровался, иные здоровались со мной – меня здесь знали. И вот кто-то остановился, подняв в приветствии руку, перешел улицу, заговорил. Странно - я понял его речь. Оказывается, я знаю древнегреческий!

-Ты опять у нас, бродяга?

-Привет, Терпандр! Иду по улице, а ее качает, как мою палубу. Неужели, думаю, так и будет?

-Как твои успехи?

-Успехи? Пожалуй, да. Попали в сильнейший шторм, остались живы – чем не успехи?

-Что поделаешь, близится осень. Но я про торговлю.

-Нептун взял с нас дань, и мы выручили меньше, чем потратили.

-Зряшный поход?

-Хуже. Что поделаешь, море вымощено не камнем, как здесь, а волнами. Эти были величиной с гору.

-Ну ладно. Я вижу, ты спешишь. Как-нибудь загляни в мой дом. Поговорим обо всем...

-Благодарю, Терпандр. Как только случится свободный день. Мне ведь еще чинить свое судно. Прощай.

-Прощай, Марк. Пусть боги сменят гнев на милость к тебе!

Его зовут Марк! И он, видимо, моряк либо торговец. Скорее и то, и другое.

Кубик вдруг перешел на шепот, будто сообщая мне тайну:

-И – глубинная память существует!!! Или еще какая-то чертовщина!! И я взаправду жил здесь, жил! Права была экстрасенсша с удавкой на шее!

И еще – если это не сон – души бессмертны! Ребята, они бессмертны!

-Но куда спешит сейчас Марк? – было продолжение рассказа. - И, кстати, сколько ему лет? И как он выглядит? Хорошо, если б в стенах домов были окна и стекла, я наверняка заглянул бы в них так или иначе глазами Марка. Но все стены были «глухие», окна, насколько я знал, всегда выходили во двор.

И я принялся разглядывать то, что «снимал» на пленку внимания Марк.

Никто из встреченных не зачесывал волосы назад, они были короткие, курчавились надо лбом. Бороды, если были, тоже короткие, аккуратно подстриженные. Хитоны разноцветные. Порой встречались одежды с пурпурной каймой – ну да, ведь в городе живут только богачи, которые уже перенимают римские обычаи. Все дома мастеровых за городской стеной. И если встречные не обращают на Марка особого внимания, значит, он одет не хуже других. Может, и он не беден?

Марк шел быстро, изредка здороваясь со знакомыми. Если его спрашивали, куда он спешит, показывал, не говоря лишнего слова, направление рукой и улыбался, давая этим понять, что отвечать не намерен.

У брадобрея, сидевшего на углу двух улиц, Марк остановился. Потрогал бороду и решительно шагнул к нему.

-Придай-ка мне, дружище, сухопутный вид, - сказал он, садясь на подобие табурета, - я слишком долго пробыл в море.

-В море борода растет быстрее, - берясь за инструмент, заметил брадобрей, чей-то раб или вольноотпущенник, - может быть, из-за соленой воды. Я слышал, пришло чье-то сильно потрепанное судно.

-Это мое. – Марк еще раз потрогал бороду и взял за длинную деревянную ручку отполированное до зеркального блеска бронзовое зеркало.

Сейчас я увижу Марка!! Сейчас я увижу того, чью душу ношу в себе!

В бронзовой круглой пластине – сердце мое заскакало, как сумасшедшее – я увидел себя! Себя, самодовольно и в тоже время придирчиво озирающего свой лик...

Должно быть, зеркало клиенту полагалось держать самому, подсказывая брадобрею, как хочется выглядеть, и я вдоволь насмотрелся на живущего две тысячи лет назад человека, в котором обитала моя душа. Конечно, я заметил и некоторую нашу непохожесть, и чем больше работал парикмахер, тем ее становилось больше: мода на прическу и бороду как-никак изменилась... Брадобрей укоротил волосы спереди, так, что они стали доходить до середины лба, усы стали облегать верхнюю губу, нигде не выдаваясь, укоротилась и борода.

Марку было, наверно, лет тридцать, отменно загорелый малый, с золотой, как у многих, цепочкой на крепкой шее моряка, привыкшего к работе с парусами. Золотой же была и застежка, скрепляющая на правом плече ткань белоснежного хитона без пурпуровой каймы. Лицо на редкость самоуверенное (каким оно у меня бывает, может быть только когда мне удается работа, да и то всего несколько минут); Марк открыто любовался собой, глядя в зеркало, нисколько не стесняясь брадобрея, тот, по своему общественному положению, был, конечно, ниже моряка.

Окончив стрижку, он взял со своего столика стеклянный флакон обмакнул в темно-коричневую жидкость тряпицу и без спроса закрасил седые волоски в бороде и на висках клиента.

-Все? – нетерпеливо спросил Марк, поворачивая лицо перед зеркалом.

-Нужно дать высохнуть краске, господин, - ответил брадобрей. – А вдруг чуточку придется подправлять? Да и можно испачкать руки, если тронешь...

-Хорошо, - согласился Марк и, в последний раз глянув на себя, положил зеркало на столик, а лицо подставил яркому солнцу.

А я, представляешь себе, почувствовал, кажется, этот жар на щеках, лежа в каменном дворике полуразрушенного древнегреческого города...

Так, так, сказал я себе, а к кому же все-таки мы идем? Если к женщине, то я могу считать этот день вдвойне-втройне удачным! Я увидел Марка, а теперь, может статься, увижу и ее...

Я не видел, как Марк расплачивался с уличным парикмахером, какой (или какими) монетами (память Марка не фиксировала этого), просто путешествие по узким улочкам вдруг продолжилось. Я жалел, что не могу остановиться, посмотреть на какой-то дом, заглянуть через высокий забор во двор; кроме этого, хотелось запомнить дорогу: вдруг мне самому придется идти по ней через какое-то время – кажется, чудеса на свете все же существуют!

Марк свернул в переулочек, где двоим, чтобы разойтись, надо было прижаться к стенам, прошел еще немного и остановился у калитки. Рядом с калиткой была вделана в стену бронзовая пластина, над которой нависало бронзовое кольцо.

Рука с перстнем – видно, Марк любовался им – несколько раз ударила кольцом по пластине, во дворе раздался чей-то голос и пожилой бородатый мужчина открыл калитку. Увидев Марка, он низко поклонился и забормотал:

-Да хранят тебя боги, молодой господин, проходи, хозяин дома.

Наверно, это был раб, потому что Марк ему не ответил, даже не кивнул, и ступил во двор, вымощенный камнем. Навстречу ему поднялся с плетеного кресла плотный, короткошеий и горбоносый, похожий на борца мужчина, чуть старше его.

-Приветствую тебя, Марк! Море все-таки вернуло бродягу земле и нам! Должно быть, кто-то здорово молился за тебя и твой корабль здесь? А, красавчик?

Мужчины обнялись.

-Понтия! – крикнул, подняв голову ко второму этажу горбоносый. – Посмотри, кто к нам пришел!

-Подождите меня! – послышался сверху женский голос (мое сердце снова заскакало). – Мы еще не кончили. Пармен, прими гостя!

Хозяин хлопнул в ладоши, из каморки на первом этаже выбежал тот же бородатый мужчина, что открыл дверь Марку.

-Накрой стол, - распорядился Пармен, - да поживей. И чтоб все было свежее – нашему гостю-моряку надоела солонина. А пока то да се, принеси нам фалерна.

Мужчины сели в легкие плетеные кресла, заскрипевшие под ними, раб, исчезнув после последнего приказания, тут же появился с подносом, на котором стояли два серебряных кубка и глиняный кувшин, тут же запотевший. Был выдвинут низенький, тоже легкий столик, поднос воцарился на нем. Раб разлил янтарного цвета вино и испарился.

-Расскажи-ка, расскажи, как ты остался жив? – повторил свой вопрос Пармен. – До твоего корабля пришел еще один, и моряки говорили, что попали в страшенный шторм, который бушевал на всем море. Мы здесь трое суток не выходили из домов. Те моряки были уверены, что только им удалось выжить. Вас ведь он тоже захватил?

Марк поднял бокал, поднес сперва к носу.

-Мед с самой Гаметты. И хвоя оттуда же. Узнаю. – Отпил. Причмокнул.

-Только вмешательство Девы спасло нас. Даже капитан сказал: « Спешите молиться, ибо подобных волн я не видел». Они были над нами, Пармен, нависали над кораблем, как крыша. Да, только руки Девы спасли нас – вывели нашу скорлупку из этого ада...

Пармен тоже кивал, слушая Марка, и отпивал глоток за глотком. Вино наверняка было прохладным, а день – жарким, и я позавидовал пьющим приятелям и даже сглотнул слюну.

Снова появился бородатый раб с подносом в руках. Он аккуратно разложил на столе тарелки с холодной курятиной, хлеб, яблоки и виноград. Поставил кувшин с водой. Поклонился и скрылся.

-Только руки Девы... – повторил Марк и замолчал, рассеянным взглядом обводя внутреннюю стену дома.

 Гость какое-то время молчал, Пармен, поглядывая на него, тоже не говорил ни слова, понимая состояние гостя, над головой которого наверняка сейчас снова поднимались волны-гиганты, а в ушах грохотало бешенство моря.

-А вот и я! – птицей слетело на них сверху, оба подняли головы и увидели, как по лестнице, сияя улыбкой, лучась глазами, легко сбегает молодая женщина в белой, по колени накидке. Кудри были короткие, они облегали голову, оставляя открытой длинную смуглую шею с янтарным ожерельем.

-Если б я не узнал тебя по голосу, - сказал ей Пармен, - я бы подумал, что в моем доме чужая женщина. Ты не находишь. Марк? У нее новая прическа!

Я напрягся, вглядываясь в Понтию. Это ее я видел во сне? Вдруг это она молилась девятому огню? Вдруг она? Нет, у той женщины волосы были уложены совсем иначе и она казалась старше. Но ведь то актриса...Да нет, это ОНА! Как она смотрит на Марка, пока ее муж подливает вина в бокалы!

Она, она!

Понтия смотрела на Марка, а я чувствовал ее взгляд и на себе – я читал его, я слышал непроизнесенные слова, которые Понтия поручила передать своим лучашимся глазам.

Понимаешь, какая получается закрутка: эта молодая, почти юная женщина, жена коренастого горбоносого Пармена, видно по всему, любит Марка... Марка, похожего на меня, Виктора Кубика, как две капли воды! Любит, получается, нашу душу – а она находится сейчас в теле загорелого древнегреческого моряка.

 Боги! Помогите мне разобраться в этом! Ведь моя душа, теперь уже только моя, оказывается, помнит эту любовь, более того – посылает в мой мозг странные, труднорасшифровываемые сигналы, чего-то требует от меня...

Но ведь я, Кубик, не Марк! Я совсем другой человек! Ну да, другой. Но и чем-то, наверно, схожий с ним. У нас одна внешность, одна на двоих душа. Наверняка мы похожи и внутренне. Но разве этого достаточно?

Да и вообще, чьи сигналы я слышу во сне – своей души или... Раз души бессмертны, не исключено, что душа Понтии может находиться сейчас в теле другой женщины, а та, вдруг, где-то недалеко от меня... и вот, почувствовав мою близость, «радирует» мне. Ведь все, что я видел во сне...

Кубик запутался. Взгляд влюбленной женщины, направленный на Марка и доставшийся и ему, спутал его мысли.

-Понимаешь... – Вместе с рассказчиком терял опору в виде скалы с тяжеленным камнем посередине и я, - понимаешь... мне моментами казалось, казалось... что Понтия смотрела не только на Марка, а и на меня, Виктора Кубика - каким-то ведьминым чутьем уловив и мое присутствие во дворе, странен был ее взгляд, чуточку растерян, она иногда мимолетно оглядывала двор, словно чувствовала на себе еще чьи-то глаза... мои?..

НАХЛЕБНИК

Мне стало трудно совмещать древнегреческий дворик, где сидели за накрытым столом Пармен и Марк и стояла женщина, бросая тревожные взгляды на моряка – трудно стало совмещать с веселыми воплями мальчишек и девчонок, с холодными брызгами, то и дело осыпающими спину, с пятками очередного ныряльщика прямо перед носом, и я предложил Кубику перенести рассказ, ради его сохранности, на вечер. Он согласился. Мы искупались, полежали на скале, пока солнце не накалило кожу, дружно нырнули еще раз.

И уже в который раз херсонесская вода так по-особому пахнула своей солью, неповторимым своим рассолом, так поразила по-женски ласковой плотностью, что я восторженно подумал: поднеси мне кто-то десять сосудов с водой из разных морей и из разных мест Черного моря, я бы сразу, чуть наклонившись к сосуду, узнал эту...

Почти весь следующий день мы провели порознь: Кубику, видать, потребовалось одиночество. Да и мне что-то захотелось побродить одному, так же, как художнику, потрогать камни, посидеть у древней стены, поддаться гипнозу моря. Такое желание охватывает здесь каждого, кто хоть раз побывал на мысу.

Я походил по залам музея, постоял перед клятвой, набранной на стене крупным буквами... «...я буду единомыслен относительно благосостояния и свободы города и гражден и не предам ни Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной гавани...». Потом, конечно, побыл перед Владимирским собором (здесь он зовется Владимировским), еще раз дивясь необузданной ярости войны, изуродовавшей храм.

Пошел к морю; мелкие волны искрились под солнцем.

Здешний берег привлекает, пожалуй, тем, что на нем нет ни одного признака нынешней цивилизации, кроме колокола между двумя пилонами, у которого довольно сложная история. Он был увезен после войны 1855-56 гг в Париж и украшал звонницу Нотр Дам де Пари. Долгими договорами властей колокол был возвращен этому берегу, опасному кораблям в туман.

Языка в колоколе нет и на нем всегда можно увидеть меловые следы камней: почти всякий проходящий мимо бросит камень, чтобы услышать его голос.

И берег, и море первобытно дики, особенно берег, он изломан, изорван, постоянно обрушаем, прихотливая волна то лижет его, ласкаясь своим скользким телом, в котором чувствуются однако могучие мускулы, то, чисто по-женски остервенясь на безответность, лупит со всего маху в и без того разбитую штормами грудь. Штормовая волна постепенно съедает мыс; за полторы тысячи лет немало пористого камня ушло под воду. Камень оброс там зелеными бородами водорослей и дал приют всякой донной рыбе и крабам, чьи мощные разноцветные клешни видны из иной темной щели.

Кубик был прав: здесь можно ходить до бесконечности, не ведая ни скуки, ни суеты и ни усталости. Купальщики на этом берегу не шумны, узкая полоса гальки не дает разыграться в волейбол, а дальше берег каменист и начинаются развалины. Древние мраморные колонны базилик внушают должное уважение к мысу, совсем-совсем непросто избранному когда-то людьми для целого полиса, - по нему ходишь, все пытаясь представить древний город в один из его обычных дней: курчавобородых загорелых людей, белозубые их улыбки, оживленный говор; деревянные парусно-весельные суда, входящие в бухту, рабочий шум порта, запахи грузов – рыбы, масла, вина...

А сюда, где сейчас кишит полуголый люд, к галечной полосе, где переливчато позванивает прибойная волна, спускались смуглые женщины в разноцветных легких платьях, подходили к самой воде, приседали, переговаривались, плашмя опускали руки в воду... на дне мелькали солнечные блики, на руках жемчужно блестели мелкие пузырьки воздуха, женщины плескались, брызгались, смеялись...

Солнце мы провожали, сидя, как и в прошлый раз, у колонн базилики. Этот обряд уже сложился, он предполагал молчание, мы и молчали, пока не погасла над утонувшим светилом корона облаков.

Потом художник заговорил. Негромкий его голос стал для меня главным звуком.

...Хотя влюбленные взгляды Понтии доставались через Марка и Кубику и он воспринимал их как посылаемые и ему, до него дошло наконец, что он здесь, в сущности, пришелец, незваный гость, сбоку припека. Что он только невидимый свидетель любви, дивным цветком расцветшей в глубине древнегреческого дворика, он лишь зритель...

 Снова зритель! И все же, все же... какая теплая волна радости, счастья прокатывлась по нему, когда Понтия в очередной раз взглядывала на... тьфу! тьфу! – на Марка!

Марк, по ревнимому мнению Кубика, был груб, неотесан, тщеславен; заметив на себе не раз и не два взгляд влюбленной женщины, он стал горделив, напыжился, как индюк, теперь он все чаще подливал вина заметно опьяневшему Пармену – чтобы побыстрей напоить его, и уж тогда смело касаться руки Понтии. Руки обоих жаждали встреч, их пронизывали магнитные токи, пальцы, мимолетно трогая друг дружку, ласкались – боги, какое это наверно, было наслаждение!

Понтия не противилась ходу событий.

А он, Кубик, видя все это, скоро почувствовал себя... нахлебником на чужом пиру, он частично пользовался чужим счастьем, ему перепадала лишь тень его; художник начинал ненавидеть Марка, грубого, тщеславного торгаша, вероломного друга Пармена, изголодавшегося по женщине моряка.

Ревность настолько захватила, что чудо всего происходящего – художник конца двадцатого века, современник атомной бомбы и компьютера, позволил завлечь себя то ли выкрутасам Времени, то ли прихотям душ, и залетел черт знает в какой древний век – отступило на второй план. Он уже влюбился в Понтию (как это бывает в картинных галереях, когда красавица со старого холста случайно глянет на тебя из-за угла), влюбился в Понтию, гречанку из далекого прошлого, как в женщину нашего времени, и касался то и дело ее рук... руками Марка.

Взгляд Понтии, иногда мерещилось ему, пронизывал Марка, как стекло, и остнавливался на нем, Кубике, и Понтия как будто это понимала: какое-то недоумение, какой-то вопрос возникали в ее глазах, и она искала на них ответа.

Но что это за глупая игра в любовь между двумя людьми, разделенными двадцатью веками! Тысячами войн, штормов, непогод... Что даст ему в конце концов этот сеанс прошловидения, кроме жестокого разочарования, когда он оторвет голову от камня и выйдет из развалин! Что даст, кроме страшной отдаленности от этого милого дворика, от этих трех людей – короткошеего Пармена, черноглазой Понтии и фатоватого Марка, от фалернского вина, в котором чувствуется вкус и аромат дикого меда и хвои, в конце концов от этого чистейшего воздуха, в котором не присутствует еще ни одна пылинка угарного двадцатого столетия?

Что даст ему этот сеанс, кроме глубокой печали и ощущения несбыточности встречи?

Пармен, уже ливший в себя вино, как в бочку, мало что соображал. Понтия придвинулась к Марку; вокруг кубка моряка, тоже изрядно захмелевшего, ширилось пятно от пролитого вина. За спасение Марка было выпито уже несчетное количество раз, но Пармен не уставал говорить, что и этого мало, что завтра же они принесут жертву Деве – пойдут к ней с самого утра. Рабу, приносившему вино и закуски, он не уставал твердить, чтобы тот ни в коем случае не затащил на их стол свинины – Дева не терпит этих наглых животных...

Понтия почти не пила – касалась иногда губами края кубка, словно для того лишь, чтобы охладить их и ощутить кончиком языка терпкость и сладость напитка, которого она еще глотнет сегодня. Поднося кубок к губам, она взглядывала на Марка, и Кубик знал, что женщина дразнит себя и его – в тонких ее руках был не серебряный кубок с пряным напитком, а – обещание, предвкушение.

Уже с час на столе горели три светильника, ветер гасил их. Рука Пармена, поддерживающая голову, уже несколько раз подламывалась, и хозяин стукался лбом о стол; обед, перешедший в ужин, пора было заканчивать.

Марк налил вконец осовевшему Пармену еще один бокал – полный, кувшин опустел, и Марк долго держал его над своим кубком, будто наполняя его. Понтия следила за каждым его движением, лицо ее было сейчас безучастным к тому, что она видела, - словно все теперь, что должно было произойти, решалось не ею, а этими двумя мужчинами, властвующими над ее судьбой. А может быть, и самой судьбой.

Пармен, облив щеки и подбородок вином, опустошил свой кубок, выронил его, вытаращил глаза откинул голову и тут же страшно захрапел. «Полная отключка», определил Кубик, «отпад»... Интересно, подумал мимоходом, а что произносили древние греки в таких случаях?

Понтия хлопнула в ладоши, и раб, стоявший уже наготове у своей двери, подскочил к хозяину, подхватил того подмышки и потащил, невероятно тяжелого, в мужскую спальню, находившуюся на первом этаже. (Второй этаж принадлежал женщинам). Марк допил несколько капель вина, бывших на донышке его бокала, и взглянул на Понтию. А художник пробормотал про себя горькое: «Неужели,черт побери, моей несчастной душе предстоит испытать еще и это?»

Раб вернулся, Понтия дала ему выпавший из рук Пармена бокал, что-то чуть слышно сказав, тот поднял запасной кувшин, стоявший у двери, наполнил бокал хозяина, опрокинул его в волосатый рот, одним глотком справившись с вином, и благодарно поклонился госпоже.

-Отведешь гостя в его комнату, - распорядилась Понтия, - и пойдешь к себе. Убирать будете рано утром, когда все еще будут спать. – И ступила на первую ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж. И обернулась к Марку, не спускавшему с нее глаз. И все сказала ему глазами...

-Тут я, - художник зашевелился, меняя место у колонны, - до сих пор лежавший головой на камне, сел. Я даже не знал, сплю я или вижу все наяву. Рассердился. «Может, уйти отсюда к чертовой матери? Что за дела? Идти за женихом в его брачную постель! Бред какой-то! Ненормальщина! Извращение! Любовь втроем? Опять в свидетели?»

А Понтии словно передались мои сомнения, странным образом пронизавшие двор и приписанные единственному мужчине, Марку, вдруг остановилась. Еще раз поглядела на него, будто проверяя, понял ли он, что она сказала глазами. Убедилась, что да, и поднялась по лестнице в свою комнату. Дверь оставила полуоткрытой....

...Опять в свидетели?

Разум, принадлежавший Кубику, возмущалася, ревность приводила в бешенство, а душа – одна на двоих с Марком, неизвестно в каких пропорциях разделенная сейчас – рвалась вслед за Понтией. Но кроме трех этих величин, была еще и четвертая – любопытство. Полновесное, он встало на одну чашу весов с душой, и стрелка весов качнулась. Впрочем, если честно сказать, душа и без любопытства справилась бы с разумом.

Слуга подошел к Марку.

-Ваша постель готова, господин, - сказал он и сделал приглашающий жест в сторону гостевой комнаты.

В крохотной, как все в этих домах, комнатке горел один огонек, с изголовья освещавший низкий топчан с постелью на нем. На столике рядом с топчаном стоял кувшин с водой, которая наверняка понадобится изрядно хватившему моряку ночью.

 Марк лег, заложил руки за голову, вздохнул. Сколько всего было, прежде чем он занял эту долгожданную позу...

-Иди, - сказал он рабу, ожидавшему последних распоряжений, - ты мне больше не понадобишься. Да, можешь там выпить еще вина – ты мне понравился.

Раб низко поклонился и вышел, плотно затворив за собой дверь.

Из комнаты рядом доносился мощный храп Пармена. Пьянчуга не проснется до утра, это точно. Вдруг наступила тишина, и Марк сразу услышал, как над головой скрипнули половицы - Понтия. Она там, у себя, ждет Марка.

Единственная опасность – раб. Но, может, и он уснет после двух бокалов густого вина, после долгого рабочего дня? Вся остальная прислуга в дикастерии давно уже видит третьи сны.

Марк спустил ноги на пол.

У Кубика сильно забилось сердце.

Сейчас его соперник и одновременно... кто? Напарник? «Во что я вляпываюсь! Пусть будет лучше «совладелец души»... Кто он еще, этот прощелыга Марк? Впрочем, почему прощелыга? Это я сгоряча, извини, совладелец... И разве такая уж у нас плохая душа?»

Марк поднимался по чуть поскрипывающей лестнице, и Кубик, разум которого только мешал тому, что происходило в душе, поднимался вместе с ним. Он-то и наставил художника: «Иди, старик, и испытай то, что пока не было дано испытать ни одному человеку на земле. В конечном счете ты ведь уже влюблен в Понтию никак не меньше Марка, иди к ней и думай, что ты с ним одно существо».

Дверь в комнату Понтии была приотворена, оттуда на Кубика (и на него, и на него!) пахнуло незнакомыми ароматами, в букете которых он узнал только розу.

-Это ты? – шепот из угла комнаты не назвал имени, боясь выдать тайну.

-Я, - услышал Кубик голос Марка, - это я, я...

Дальше было то, что Кубик, естественно, знавал, но разум его снова потерял опору, онемел, а может, и испарился, когда он ощутил вдруг грудью и животом Марка обнаженное, вздрагивающее от нетерпения, то сладко, то горько пахнущее тело Понтии.

То, что открыла ему вслед за первыми прикосновениями эта юная-древняя гречанка, сказало ему: все его знания в области любви – всего лишь пять-шесть букв алфавита из всей многобуквенной ее азбуки.

Повторим: разум Кубика сначала потерял опору, затем попросту исчез – испарился. Его не стало, ему не было места во всем существе художника – всё заняли удивление, наслаждение, радость, блаженство. Душа выросла, расширилась и заполнила все клетки его тела и каждая из них пела, кричала...

 Кричал и Марк, а Понтия закрывала ему рот то собственными губами, то грудью, то животом. Все тело юной женщины пахло душистыми маслами, ароматы распаляли желание.

«Боги! – успевал только думать Кубик. – И всё это безумие, все это счастье скрывалось во мне! Неужели я ни разу, никоим образом не почувствовал их в себе? Неужели ВСЁ ЭТО никак не давало о себе знать?»

Сдаваясь, Марк раскидывал руки и ноги, мокрый, тяжело дышащий; Понтия – юная, гибкая, неистощимая, жадная, с нежной и влажной кожей – долго не могла успокоиться, судороги пронизывали ее тело, она снова прижималась к Марку, терлась об него, целовала (поцелуи пахли ромашкой), щипала кожу там и сям, теребила бороду, гладила, легонько касаясь, грудь и живот, призывая откуда-то теплую волну, которая окатывала Марка и снова вызывала желание.

Кувшин с вином, стоявший на столике у изголовья, опустел - рты постоянно требовали влаги, тела – силы.

Но вот огонек в светильнике потускнел, в комнате обозначились стены и потолок – близился рассвет.

-Тебе пора, - сказала Понтия, - скоро проснутся рабы. Иди в свою комнату и усни. У тебя это быстро получится, - добавила она со смешком.

Марк накинул хитон, расправил привычным движением складки, сунул ноги в сандалии. Понтия села.

-Пармен поднимется не раньше полудня, спи и ты.

-А ты?

-Мне вроде бы не с чего спать так долго, - потягиваясь и зевая, ответила женщина, - я встану чуть позже рабов. Ну, иди. Я люблю тебя.

-Ты это доказала, - сказал Марк. – И я люблю тебя.

-Ты тоже это доказал, - услышал он уже на лестнице.

Предутренний воздух поразил его своей прохладой.

Марк спустился в свою комнату, посидел с минуту, растирая лицо, потом повалился на подушку. Он уснул, кажется, на лету, еще не коснувшись ее.

Дом Пармена спал. Спал полуостров. Тишину (шум прибоя был столь привычным, что не мешал ей) нарушали лишь собаки, перекликаясь друг с дружкой.

Художник, лежа в своих развалинах, чувствовал во всем теле усталость и блаженство – Марк передал ему все, что испытал.

 Все же он сел и растер лицо – совсем, как растер его за минуту до этого (две тысячи лет назад) любовник Понтии.

-Так, так, - сказал Кубик, просто потому, что должен был что-то сказать, знаменуя возвращение русской речи и какой-то части здравого смысла, – если я угощу тем, чему меня научила Понтия, современную женщину, она сочтет меня маньяком или же сойдет с ума. – И добавил ради тех же целей: - Вот уж кто были не дураки, так это древние греки.

И еще: я теперь, кажется, знаю, за что люблю этот полуостров, что именно тянет меня сюда, как магнитом, и почему я глажу эти пепельные, но всегда теплые для меня камни...

ВСЕ ЕЩЕ ТАМ

Пармен и в самом деле спал до полудня. Но, чуть проснувшись и поняв, что день не сулит ему ничего хорошего, потребовал бокал холодного вина, на стол легла свежая скатерть, появился виноград, яблоки, потом и свежая рыба, за первым бокалом последовали второй и третий. И день, сначала скрипевший, как несмазанное колесо и застрявший было в колдобине, двинулся, слава Дионису, поехал, покатился, все быстрее и быстрее. Что ж, и этот можно посвятить чудесному возвращению Марка! Море не часто отпускает попавших в его объятия.

Друзья сказали благодарственные слова Деве, вовремя вспомнили, что им следует выпить и за отца ее, Стафила, мать Хрисофемиду, стали гадать, какое именно вино поручили сторожить сестрам Парфене и Мальпадии, а свиньи все равно разбили кувшины, пробравшись в погреб, наливали в бокалы то одно, то другое и, глотнув, отчаянно спорили о сорте.

Понтия несколько раз проходила мимо Марка и то незаметно погружала пальцы в его волосы на затылке, то мимолетным движением касалась щеки. Он все пытался поймать губами ее душистые пальцы, но у него не получалось. Пармен снова был пьян, чтобы что-нибудь заметить; Марк же был счастлив, как никогда: он вышел из смертельного шторма живым, он дома, на твердой земле, он влюблен и любим, он провел ночь, что сделала его тело невесомым... что еще нужно человеку в тридцать лет?

Потом, уже к вечеру, он шел домой и земля качалась под его ногами, как палуба, уходила из-под ног, как при землетрясении; он никак не мог поймать глазами и остановить далекий сигнальный огонь на берегу; где-то неподалеку шла пирушка и оттуда звучали пьяные голоса, он хотел зайти туда, но все-таки понял, что слишком пьян, чтобы осилить хоть еще одну каплю вина.

Увидел наконец освещенную луной свою калитку, звякнул кольцом, ему тотчас открыли, потому что, видимо, ждали, он оказался во дворе, где ему осветили путь к двери, подхватили под руку (он не видел, кто его встретил), слабый огонек светильника погас, когда открылась дверь, наступила темнота – то ли это была темнота комнаты, куда ввалился пьяный Марк, то ли отключилось его сознание...

Темно было и вокруг нас. Слышался прибой, слева и справа доносились негромкие голоса влюбленных и небольших компаний, сидевших поближе к морю, светились два костерка, чуть наигрывала гитара. Кто-то включил было транзистор, но сразу и выключил: треск его не вязался с ночью на Херсонесе.

Кто-то бросил камень в колокол – гул его проплыл над нашими головами.

Художник то говорил, то замолкал; я не торопил его с рассказом, ни о чем не спрашивал: то, что представало передо мной с его словами, долго не гасло.

Кубик не верил ни в какие чудеса и считал, как поэт Иосиф Бродский, наш мир «безвыходно материальным». Единственное чудо, которое он признавал, было вдохновение. Оно подсказывало ему, что писать, и давало порой такие мазки, что он сам одобрительно крякал и даже говорил: «Ну и Кубик! Ну, молоток! Смотрите, на что, оказывается, этот парень способен!»

А сейчас в его сознании что-то произошло. «Безвыходная материальность» дала трещину...

Над нами рассиялось неописуемо прекрасное звездное небо. Пахло высушенными жарким солнцем травами, пахло солью моря, плескала волна, перебирая гальку, негромкие голоса не принадлежали ни одному, отмеченному цифрами, времени, а огоньки двух костров – тем более, мне было легко слушать рассказ художника.

...Марк, Пармен, стол между ними, вина, вкус которых он до сих пор ощущает... Понтия... Необъяснимая легкость во всем теле... что все это? Собственное воображение? Ведь он столько знает о полуострове, о городе и двухтысячелетней его жизни, столько напредставлял себе сам, что совсем не трудно увидеть, чуть подтолкнешь мозг, целый фильм, словно бы снятый на кинопленку. Он на это способен. Видят же порой кинорежиссеры свои будущие фильмы целиком, озаренные всеблагим вдохновением!

Кубик поднял голову. Одна из звезд пересекала небо. Спутник.

...Что если он совершил путешествие во времени – увидел полуостров в ту пору, когда его душа жила была там? Оказалось, одна из ее жизней «записана» четче, чем другие. Неужели только благодаря Понтии? Неужели эта любовь и есть отгадка его чуда?

Или это все один сказочный сон?

-Я не хотел покидать моего ложа в том дворике, - говорил художник, - боялся оторвать голову от того камня. Открывал глаза – видел серую древнюю стену, закрывал – продолжался сеанс прошловидения.

...Синяя-синяя вода бухты, деревянная галера с обломанной мачтой, которую вытаскивают из степа в глубине судна четверо полуголых, бронзовых от загара молодцов. И бухта, и галера приближаются – значит, Марк идет к своему кораблю.

Следующая картинка: уже шестеро полуголых парней устанавливают новую мачту.

Взгляд (Марка) снизу на тонкую верхушку только что вставшей прямо мачты, на реи, такелаж, на чайку, плывущую над мачтой.

 Попарно идут к галере такие же полуголые люди, неся в связках длинные и тяжелые весла.

Вот на берегу неподалеку от корабля осторожно вбивают в плоские камни с просверленными дырами деревянные колья, чтобы якоря хватались ими за дно.

Бородатый и полулысый мужичина в затрепанной короткой рабочей одежде проверяет длиннющее рулевое весло, положив его на козлы и пригибая толстенной ручищей чуть не до земли: весло по упругости и прочности не должно уступать штормовой волне.

Крохотная каютка (иллюминатора нет), топчан, приткнутый к деревянной переборке, рундук напротив, полка, заменяющая столик. Запах кипариса, которым отделана каюта.

Беспрестанный стук топоров и молотков на палубе, ругань мастера, оклики, переговоры...

Марк торопится в море, понял Кубик. Видно, хочет использовать для торговли остаток лета, тем более, что в последний раз он прогорел.

Зато следующая картинка принесла Кубику совсем уж неожиданное. Он увидел прямо перед собой высокую мраморную фигуру женщины в тунике по колени и с лавровым венком на голове, редкий ряд колонн за ней и понял, что он (наверно, с Парменом) находится в храме (храм некогда стоял на месте Владимировского собора). На мраморном же полу лежали длинные прямоугольники света.

-О Дева, - услышал он бормотание Марка, - мне снова предстоит плавание, и далекое. Удержи – ты ведь можешь! – гнев моря, чтобы плавание мое окончилось благополучно. Ты спасла меня однажды, не забудь же и в этом походе... Услышь меня, Дева, - молил Марк, и голос его дрожал, - услышь меня, покровительница нашего города, покровительница каждого живущего здесь, услышь меня, осмелившегося покинуть сушу ради моря...

Марк помолчал, разглядывая лицо женщины, чуть повернутое от него в сторону моря, куда была протянута и левая рука богини, смотрел, словно бы ожидая, что мрамор оживет и даст ему хоть какой-то знак... Но благородный камень, в котором, конечно, отзывались его слова, не ответил ему ничем.

В храм влетела ласточка, промелькнула возле лица богини и, прилепившись к карнизу, стала кормить птенцов.

Прямоугольник света на полу незаметно для глаза превратился в ромб и, остря углы, уменьшаясь, переместился к Марку. Случайный порыв ветра принес откуда-то к ногам моряка сухой сморщенный листок. Марк поднял его.

-Я знаю, боги не разговаривают с людьми напрямую, - сказал он, - боги предпочитают обиняки, намеки и нужно уметь их читать.Ты хочешь сказать, Дева, что скоро осень? И поздно отправляться в плавание? Но посмотри, какие безветренные стоят дни, как спокойно и надежно море. И ты ведь знаешь, если я не поправлю свои дела, мне придется совсем худо, может быть, придется даже продать дом. И кто я буду тогда?..

На солнце, должно быть, нашло облако, свет слева от Марка погас. Фигура богини превратилась в силуэт.

Моряк заговорил совсем тихо, но Кубик услышал его шепот:

-Еще один знак, Дева? Ты отвернулась от меня? Но я слишком человек, чтобы принять его. Я глуп, упрям, в конце концов я влюблен! И я скажу напоследок то еще, что просила передать тебе Понтия – а уж ты поступай как знаешь. «Ты женщина, Дева, и должна понять – вот ее слова, - у нее нет большего сейчас, а может, и навсегда, чем ее любовь. Если можешь, сохрани ее!».

Кубик почувствовал себя в роли подслушивающего чужие секреты и ему захотелось заткнуть уши, но он вовремя подумал, что они с Марком близки, как, наверно, никто на свете.

Неожиданная темнота скрыла от него поблескивающую холодным мрамором статую Парфены.

ШТОРМ

Кубик рассказал мне, где его найти на следующий день: домик-дворик с «вещим» камнем вблизи порта.

-Поброди - увидишь меня. Потом пойдем на скалу.

Здесь было засилье травы, на которой белыми цветами висели продолговатые ракушки-кувшинчики. Я заглядывал то за одну стену, то за другую и наконец мелькнувший лист бумаги подсказал мне местонахождение художника. Виктор работал акварелью. Я заглянул в лист.

-Опять что-то случилось?

-То, что и ожидалось. Вот это, - он протянул мне лист ватмана.

...Громадная, зеленая на просвет волна накренила галеру – загибающийся, согнутый, как бычья шея, вал уже несся по палубе, сметая с нее все и ломая мачту, на которой уже не было паруса; в толще вала была распластана фигура обнаженного человека – еще одной игрушки исполинской волны.

Мне вспомнился вдруг Владимирский собор, на который обрушилась когда-то стихия войны.

-Кто это? – спросил я про человека, несомого над палубой зеленым валом.

-Марк. Такое мне приснилось сегодня.

Я присел рядом.

-В шторм тонула тяжело груженная гереческая галера, и я был в ней. – Кубик, как всегда, говорил негромко. – Жуткие волны, провалы, наша скорлупка падала в них долго, как в пропасть, и у меня замирало сердце, удары волны в борта, в палубу – такие, что деревянная обшивка казалась не толще ящичной тары, она вся трещала... Я уже наглотался воды... А тут очередная, страшенной силы волна накрыла меня, и без того готового к смерти, знавшего, что уже не выбраться...

Но тут я, слава богу (или богам), проснулся. Проснулся – задыхаюсь, весь мокрый, видно, задурило не на шутку сердце, - и с таким ощущением ужаса, какого никогда не испытывал. Смертельного ужаса, старик, безысходного...

Я проснулся, но все еще видел, как это бывает, свой сон. Но теперь я будто бы поднялся над галерой, полной воды, захлестнутой волной, идущей ко дну. Поднялся и над Марком – он на мгновение появился в бушующем море рядом с кораблем, кажется, уже бездыханный, безвольное тело, и исчез. Тут сон истаял, я увидел окно, серое утро, я глянул на часы – начало пятого. Вернее, четыре ноль семь...

-Ты считаешь, это погиб Марк? И это его душа вознеслась над судном?

-Я рассказал тебе то, что видел. То, что сейчас на листе.

Наш «дворик» с остатками стен и «вещим» камнем среди травы, увешанной кувшинчиками, был когда-то комнатой древнегреческого дома. Комната совсем небольшая, по нашим расчетам, девяти-десятиметровая. Из нее открывался вид на бухту, в которой когда-то стояли парусные суда. В илистом дне, должно быть, сохранились кое-где их якоря.

Я еще раз вгляделся в зеленый прозрачный вал с распластанным мужским обнаженным телом в нем.

-Здорово! Как будто с натуры.

-С натуры и есть, - ответил Кубик. – Я видел все до последней капли. Вопрос – какого происхождения эта натура.

-Все вы, художники - кто больше, кто меньше – чокнутые. Ты, может, больше.

-Нечокнутые неинтересны.

ПОНТИЯ

Этот день был ветреный, море покрыто барашками, высокая и крутая волна била в берег, гремела галькой; мы с Кубиком залегли, спасаясь от ветра, в развалинах, (кто знает Херсонес, уточню: в «доме Гордия», как написано на табличке). За невысокими стенами ветер нас не достигал, солнце же пекло, как в самый жаркий день.

Стены, сложенные из необработанного камня, поднимались на метр от земли. Верх их был зацементирован, чтобы не разрушили туристы. Внутри «дома» росла трава, она кололась даже сквозь рубашки, которые мы подстелили под спину. Солнце было прямо над домом. Когда над нами летела чайка, было заметно, что ее сильно сносит ветром, и небо тогда казалось холодным. Ветер обнаруживался, чуть привстанешь. Он

остужал мгновенно.

Впрочем, доставал он нас и за стенами. С грохотом падал на старые камни и траву и уносил жар, накопившийся в доме. Солнце, спугнутое было порывом ветра, возращалось и снова начинало накалять кожу и настаивать тепло.

На мысу всегда пахнет аптекой высушенных трав. Только здесь, среди горячих камней, пахнет еще известкой той стены, которую ты колупал в детстве.

Слышно, как бухает в скалы высокая волна.

...Волна выходит из моря крутошеей лошадью с белой гривой. Она взбирается на гальку, словно волоча за собой тяжелую поклажу, вырастая все больше, зеленея, стекленея, храпя... Не дойдя до суши двух шагов, вдруг спотыкается и грохается на камни и разбивается на тысячи зеленых осколков и брызг. И вот другая взбирается на гальку...

Берег белый, сверкающий солнцем и пустой. Может, кто-то и есть здесь – он сидит, укрывшись от ветра за древней стеной, смотрит, почти не мигая, на волны и решает какой-то там свой вопрос, - может быть, кто-то и есть здесь. Бог с ним, С ним Бог.

А может, боги? Но лучше думать, что нет никого на берегу, кроме нас двоих и вот этого солнца, и этих старых камней, открывших одному из нас свою тайну, и порывистого, грохочущего ветра, и этой сухой травы, что качается у самого лица...

Кубик был сегодня молчалив – видно, было о чем молчать, - а мне все сильнее хотелось его об этом расспросить.

-Что, опять сеанс прошловидения? – не выдержал я по прошествии, наверное, получаса нашего безгласного лежания в доме Гордия.

-Понимаешь, - вдруг разразился длинным ответом мой приятель, - то, что я здесь вижу чудесным образом, вижу, вероятнее всего, во сне. Может быть, моя подкорка «работает» на полуострове активнее, чем у других. Впрочем, как знать! Видишь вон ту девушку за стеной у купальни? Она как застыла. И кто ведает, где ее мысли сейчас, что на самом деле перед ее глазами, хоть она и не спит...

Сон, продолжу свою мысль, - известный фантазер. Ученый – что было доказано не однажды. Режиссер – вспомни ту сцену со светильниками. Кто еще? Предсказатель – со мной (и с другими, и с тобой, верно, тоже) и это было. Художник – он подсказывал мне сюжеты и решал мои чисто живописные задачи. Но я до сих пор не знаю, не знаю, поверь, в прошловидение ли я впадаю время от времени, либо же это всего лишь сны?

Ветер свалился на нас с такой силой, что мы оба вздрогнули.

-Нынче ночью я разговаривал с Понтией, - Он сказал, кажется, то, что и было причиной долгого молчания.

-Ты?!

-Я. Лично я, Виктор Кубик, живописец конца ХХ столетия, имел беседу с женщиной, которая старше меня на две тысячи лет и моложе примерно лет на десять-двенадцать.

Я приподнялся.

-Как это произошло?

-Ночью, у меня дома. Во сне, как обычно. Наверное... Не знаю.

-Рассказывай.

Кубик сел. Привалился к стене.

-Ну...

Бросил на меня уже знакомый мне проверяющий взгляд.

-Почувствовал рядом чье-то присутствие, испугался, конечно, потом увидел женский силуэт, спросил: «Кто?». Услышал: «Я», и узнал голос. И ничего не мог сказать другого, кроме как «Значит...», причем на русском.

А Понтия заговорила на древнегреческом, и я его понял.

-Марк погиб? – спросила она.

Вопрос меня ошеломил.

-Откуда... Почему?.. Я...

-Он погиб? – настойчиво повторила женщина.

-Я... я не знаю. – Решился: - Я видел, как тонул его корабль... Ты догадывалась?

-Боги открыли мне... Дева... А как узнал ты? И кто ты?

Ответить было архисложно, я пошел напролом:

-Кто я? Тебе придется поверить моим словам: я тот, кто носит... в ком сейчас душа Марка.

-Разве тень его не в Аиде? Разве Харон оставил Марка по эту сторону Стикса?

-Как тебе сказать, Понтия... Представления о жизни души за последние века изменились.

-Века? – испугалась она. – Я не понимаю о чем ты! КТО ТЫ? Ты не Марк, я чувствую... ГДЕ Я?

-Ты... – я подыскивал слова, - твои боги перенесли тебя через многие годы... Вперед...

-Разве они и не твои боги?

-Наверху, как и внизу, битвы не утихают. Сейчас там воцарился вместо многих, похожих на людей, один – ни на кого и ни на что не похожий.

Это Понтия пропустила мимо ушей.

-Зажги светильник! Я ничего не пойму!

Светильник? Это означало, что я должен включить лампочку на потолке в стеклянной хозяйкиной люстре или настольную. Нет, этого делать было нельзя. В ящике стола в «моей» комнате хозяйка держала на всякий случай свечи. Я достал одну, чиркнул спичкой, зная, что испугаю мою гречанку неожиданной вспышкой, и зажег свечу. Невелика разница между огоньком древнегреческого светильника и нашей свечи...

-Марк! – вскричала, чуть увидав меня, женщина. – Марк, зачем ты обманываешь меня?! Ты жив! Почему ты скрываешься в этой комнате?

Комната была не больше херсонесской, с белеными потолком и стенами, темнота в углах скрадывала скудную мебель, – огонек светил еле-еле, – да и женщина смотрела больше на меня, чем на обстановку.

-Марк... – шептала она, и я не видел за свою жизнь более пристального и более влюбленного взгляда. – Марк...

-Как ты очутилась здесь? – задал я главный для меня вопрос.

-Нет, ты не Марк... Кто ты? – и отшатнулась от меня, словно я был тенью или привидением.

-Я же сказал тебе – я тот, в ком сейчас душа Марка. И я видел его смерть. Я видел, как корабль пошел на дно, и никто не спасся. А душа Марка, должно быть, отлетела.

Донельзя расширенные глаза.

- И я не знаю, где она блуждала, перед чьим судом была, в ком еще жила. Боги не открывают людям своих тайн, эта – одна из них.

Я говорил так, чтобы женщина поняла.

 -Могу сказать только, что не было в душе Марка большей ценности, чем любовь к тебе... и если и ты любила его, то это, наверно, и связало нас сегодня.

-Я прилетела, - грустно сказала Понтия, - как бабочка на огонь.

-Сколько времени прошло с того дня, как Марк покинул Херсонес?

-Идет третий месяц. У нас холодно, дует северо-восточный ветер, который приносит снег. В море штормит, все корабли в бухте. Мачты качаются так, что кружится голова. Все корабли дома, кроме корабля Марка!.. В моей комнате меняют жаровни, я одна...

-А где Пармен?

-Он на своей усадьбе, занят вином. У нас хороший урожай винограда... А теперь оставь меня на время – я плачу... Постой! – вдруг выпрямилась она. – Откуда ты знаешь Пармена?!

-Я знаю не только Пармена. Мне известно все, что было в твою последнюю встречу с Марком. Как заснул пьяный Пармен... Как Марк пришел в твою комнату на втором этаже... Как ты наградила его, истосковавшегося по любви, целым ее морем...

-Ты... знаешь... все?

-Даже те слова, что ты говорила ему в ту ночь.

-Ка... кие?

-Ты называла его «мой соленый», «мой Нептунчик», «рыба, попавшая в мою сеть». И еще...

-Не надо! – выкрикнула она. – Как ты можешь! Откуда ты это знаешь?

-Я уже говорил тебе: у нас с Марком одна душа. И я, получив ее, знаю все сокровенное, что он испытал в ту ночь.

-И ты?! – с ужасом в голосе воскликнула женщина. - И ты, выходит, вместе с ним? Как это? Объясни!

-Я думаю, его душа, став наконец моей, однажды показала... да, показала мне... – я очень осторожно подбирал слова. – Она хранила ту радость...

-Чужому человеку... – прошептала Понтия, - все самое... Я не могу этого понять, я против этого...

Силуэт ее казался тенью на стене.

-А ты, скажи, ты тоже любишь меня? – задала женщина спасительный для себя вопрос. – Ты – любишь?

Я понял болезненное состояние Понтии, чья тайна стала известна чужому человеку, и поспешил ее заверить:

-Да, да, Марк передал мне все.

Впрочем, мой ответ едва ли был услышан.

Плечи моей гостьи опустились.

-Боги, - шептала она, - какие испытания вы посылаете мне! – Теперь я не узнавал в голосе донельзя обескураженной Понтии ту молодую гречанку, которую впервые услышал на лестнице херсонесского дома. – А скажи мне – я до сих пор не знаю, как тебя зовут... Виктор... Скажи мне, Виктор, сколько времени разделяет Марка и тебя?

Я вынужден был признаться:

-Много... Твоего города уже нет на полуострове – ни одного дома. Одни развалины. Остатки стен - не выше человеческого роста. Сохранились, правда, городские стены с главнями воротами, вы в них хоронили еще именитых покойников. Помнишь их?.. Теперь повсюду на мысу валяются серые древние камни, заросшие кустарником и травой – из них когда-то складывали дома. Это был светло-рыжий ракушечник, да? Только море, как, наверно, в твои времена - синее-синее... И все тот же прибой – какой слышали все вы, начиная с первых переселенцев-гераклеидов...

-Сколько лет? – повторила женщина.

-Две... тысячи.

Огонек свечи на столе заколыхался.

-Значит, мой дом, Пармен, сын, усадьба на равнине – всего этого уже нет? Только древние кости в земле? И только пепел?

-Все изменилось, Понтия, ты ничего бы не узнала из прежних мест, кроме городских ворот. И не найдешь, верно, своего дома.

-А где я сейчас нахожусь?

-В доме моего времени, он недалеко от мыса. Хочешь, я покажу тебе, как он выглядит? Хочешь?

Я встал, чтобы включить верхний свет.

Гостья замахала руками.

-Нет, Виктор, нет! Я не хочу видеть его! У меня нет до него дела! Я немедленно вернусь в свой дом. Туда, где мой сын, где моя комната, где мои светильники. Где мой город. Это неправда, что его нет. Я вернусь, и увижу его. Ты говоришь, камни разбросаны по всему полуострову и заросли травой? Я вернусь – они все до единого будут на своих местах. Это тебя нет, и еще долго-долго не будет!

На этот раз был обескуражен я.

-Меня? Но я – вот он, можешь меня потрогать!

-Марк, - сказала Понтия, - Марк. А ты его неудачная тень. Ты смотришь на меня не так, как он, ты даже боишься меня коснуться.

-Но у нас с ним одна душа! А ведь любят душой!

-Это твой собственный дом?

-Нет, я плачу за него. Сам я живу далеко отсюда. Но с некоторых пор стал приезжать сюда каждое лето. Меня словно кто-то зовет. Это не ты?

-Неужели я, волею богов, тоже превратилась в серый камень? Или в тень, не принятую Аидом, и брожу среди развалин? Нет, я чувствую себя живой, во мне бьется сердце, у меня теплая кожа... вот, потрогай меня наконец.

Я прикоснулся к тонкой кисти, легонько сжал ее – нежную, чуть влажную, ощутил биение пульса. Впервые я прикоснулся по-настоящему к моей древней гречанке!

-А вдруг, - мелькнула у меня сумасшедшая мысль, - вдруг твоя душа, душа Понтии, находится сейчас в другой женщине, которая тоже зачастила сюда и даже не знает почему? И вдруг эта женщина – ты? – Я не отпускал ее руку.

-Что ты говоришь! – испугалась моя гостья. – В теле другой женщины? – Ее передернуло. - Нет, нет! Я сейчас же вернусь в свое время! В свой дом!

-А ты знаешь, как это сделать? Ведь в данную минуту по нашему времени - а ты находишься в нем - твоего города нет, нет и твоего дома. Куда ты вернешься? Как?

-Всего лишь час назад я была в своей комнате, горел ночник, тлели угли в жаровне, внизу, в дикастерии, переговаривались рабы (Пармен, я сказала уже, занят вином в усадьбе). Значит, все существует?

Я хотел было заговорить, но вовремя понял, что не имею права морочить юную гречанку нашими бреднями (и надеждами) на другое измерение, параллельные миры и прочее, да, признаться, и сам я мало что в этом понимал.

-Скажи мне, как ты попала в мой дом?

-Мне было очень одиноко, - сразу же сообщила ответ Понтия. И чуть погодя стала объяснять его: - Ты говорил, что приезжаешь сюда, словно кто позал тебя. То же, верно, случилось и со мной. Я была одна в комнате.. зажигала светильники – первый, второй, третий... Зажигала, потому что на душе было очень темно... Потом все они вдруг погасли, а я, кажется, потеряла сознание... А когда очнулась, увидела тебя. Это Геката, - уверенно сказала женщина, - только она способна творить ночные чудеса!

 Все-таки внести кое-какую ясность в ее ситуации я решился. Может быть, мне она была нужна больше, чем ей.

-Я не уверен, что скажу тебе полную правду, Понтия, или вообще скажу правду. Души, кажется, живут по своим законам. У них другие, чем у наших тел, возможности. Уже ваши говорили, что души бессмертны. Кроме того, они могут, вероятно, покидать нас в любое время, перемещаться во времени, кого-то любезного им навещать...

Догорала свеча, колыхался от моих слов огонек, лицо Понтии осунулось, губы потрескались. Глаза смотрели в одну точку.

-И еще может быть, что души – те лишь, что получили самое драгоценное в жизни, – переселяются и переселяются в другие тела и всё ждут того, кому откроют так долго таимый секрет...

-Я не слушаю тебя, - сказала Понтия. – Ты говоришь что-то не нужное мне. Я думаю только о том, что Марк погиб.

-Но во мне его душа!

-Все равно... – произнесла женщина, и в ее лице я увидел выражение, которое, конечно, было мне, как всякому мужику, ведомо: в глазах, глядящих на тебя, нет света. Они не светились, как это бывает с женскими глазами в иные моменты – когда они сигналят, как светлячки.

Во мне не было чего-то, что было в Марке, и я не знаю чего.

Я разозлился.

-Знаешь, я вообще думаю, что ты мне только снишься!

-Снюсь? – вспыхнула Понтия. - Я? Если бы ты был Марком, я бы доказала тебе, что не снюсь!

Я протянул было руку к ее руке, лежащей на колене, но дотронуться на этот раз так и не не посмел. Женщина, сидевшая в метре от меня, была для меня недосягаема. Горькое чувство...

-И даже это может привидеться, - продолжал я злиться. - А какие у тебя есть еще доказательства твоего настоящего присутствия?

-Присутствия? Смотри на меня, смотри – мы больше никогда не увидимся. Я сейчас вернусь к себе. В мой дом - там еще горит зажженный мной светильник и не остыла жаровня. Он есть мой дом, я это знаю, а твой рассказ о развалинах - ерунда.

И вот что я еще сделаю. – В голосе Понтии появилась решительность и тоже, кажется, злость. - Видишь это колечко? Я оставляю его тебе. Когда ты проснешься – а ты ведь думаешь, что я лишь снюсь тебе, - женщина усмехнулась, - найдешь его на своем мизинце. И... поймешь, что я есть. Далеко, далеко... туда можно попасть только во сне. А еще оно сведет тебя с ума, как ты свел с ума меня. Хорошо, что я вовремя догадалась вернуться.

-А как...

-Откуда мне знать! Тебе должно быть известно, что нами и всеми нашими действиями повелевают боги. Спроси у Девы. Или у Гекаты – она ведает ночными чудесами. Или у вашего Не похожего ни на что и ни на кого.

-Скажи... – но было поздно: силуэт юной гречанки стал сначала прозрачным, а потом и вовсе испарился.

-Прощай, Виктор! – услышал я удаляющийся голос.

В комнате остался только аромат древних благовоний, который держался долго, я слышал его даже утром...

-А колечко? – немедленно спросил я.

-Вот оно, - почему-то скучно ответил художник и чуть приподнял левую руку, на которой сияло тоненькое золотое колечко с рубином.

Ветер хлопнул над нами, как порванный парус. Он бил по нашим обнаженным телам холодом, но чуть ослабевал, как солнце немедленно накаляло кожу.

Пуст был в это время Херсонес, что с греческого означает полуостров, пуст, безлюден – развалины, развалины... божественные развалины, увенчанные бессмертными колоннами. Когда ветер вдруг стихал, волна теплого воздуха струилась над пепельными стенами бывших домов, и казалось, солнечный жар испаряет из них жизнь, накопившуюся за многие столетия.

-Вот такая история, товарищ журналист; может быть, в ней больше ничего и не случится. Во всяком случае, со мной. С другими – не уверен. Так что придумывай конец сам и издавай повесть как собственную, обязательно фантастическую. Бери – дарю!

Снова стало холодно, художник набросил на плечи куртку.

-Только одного я тебе не скажу, - добавил он, кутаясь в жесткую джинсу, - не отдам, как ни проси, тех слов (дай Бог, чтобы и ты их не нашел ненароком) тех слов грусти, какую я испытываю, когда думаю о Понтии. О женщине, которую я, волею богов познал и не познал, женщине, руки которой лишь коснулся, женщине, до которой от меня и от этого ветреного дня две тысячи лет, а мне кажется... черт знает, что мне кажется!..

Кубик через два дня уехал, на прощание мы с ним распили две бутылки сухого крымского вина. Художник был немногословен – видно, чувствовал, что слишком уж разоткровенничался во время нашего случайного – и неслучайного – знакомства. Под конец сказал вот что:

-Вообще же говоря, брат-журналист, все это были бредни, бредни и шерри-бренди, как написал однажды гениальный поэт. Он еще добавил: «Ой-ли, так-ли, дуй-ли, вей-ли...» - ну не сукин сын? Он все-все этим объяснил! А кольцо, - оно все так же посверкивало камешком на его пальце, Кубик глянул на него и сморщился, словно вспомнив какую-то боль, - а кольцо находилось, скорее всего, в моей постели – осталось от прежних жильцов. Какая-то женщина потеряла его, оно замоталось в нитках, а я крутился во сне и оно случайно наделось на мой мизинец. Так я буду думать, чтобы в самом деле не поехать мозгами. Да и разве может быть другая причина?

-И все-таки бредни или бренди? – спросил я, лишь бы спросить.

-Черт его знает! – отдал дань спасительной беззаботности художник. – Слишком много загадок – ты не считаешь?

-Считаю, - согласился я.

Я проводил его до автобусой остановки. Автобус подошел, обдал нас облаком пыли и закачался на мягкой резине колес.

Мы пожали друг другу руки и художник вместе с чемоданом исчез в раскаленном чреве машины.

-Не залети по дороге на Марс! – крикнул я, двери захлопнулись, заглушив ответные слова Кубика.

Я вернулся на мыс, чтобы отдышаться от пыли на чистом морском воздухе, прошел позади собора, остановился перед искромсанной пулями и снарядами стеной и, конечно, поднял глаза к волшебным словам, вознесшимся над сумасшествием войны.

-Пусть, - повторил я слова заклинания вполголоса, - пусть будет вечна... Раз вечны души... Раз они блуждают по свету...